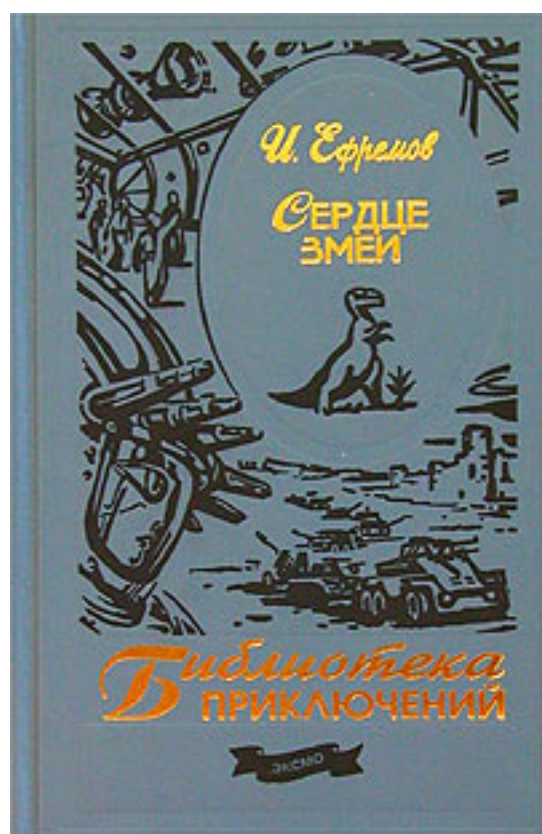




Иван Антонович Ефремов

Сердце змеи (сборник)

*Текст предоставлен издательством «Эксмо»
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=163616
Сердце змеи: Эксмо; Москва; 2003
ISBN 5-699-03691-1*

Аннотация

Имя Ивана Ефремова ассоциируется у читателей в первую очередь с «Туманностью Андромеды», «Лезвием бритвы», «Таис Афинской» и другими романами, однако задолго до их создания писатель прославился как автор великолепных научно-фантастических рассказов.

В это издание вошли произведения «малой формы», вышедшие из-под пера великого русского советского фантаста.

В сборник вошли рассказы:

- Встреча над Тускаророй
- Гонец подлунный
- Путиами старых горняков
- Тень минувшего
- Бухта радужных струй
- «Катти Сарк»
- Пять картин
- Афанеф, дочь Ахархеллена
- Сердце змеи

Содержание

Встреча над Тускаророй	4
Голец Подлунный	22
Путями старых горняков	40
Конец ознакомительного фрагмента.	57

Иван Ефремов

Сердце змеи

(сборник)

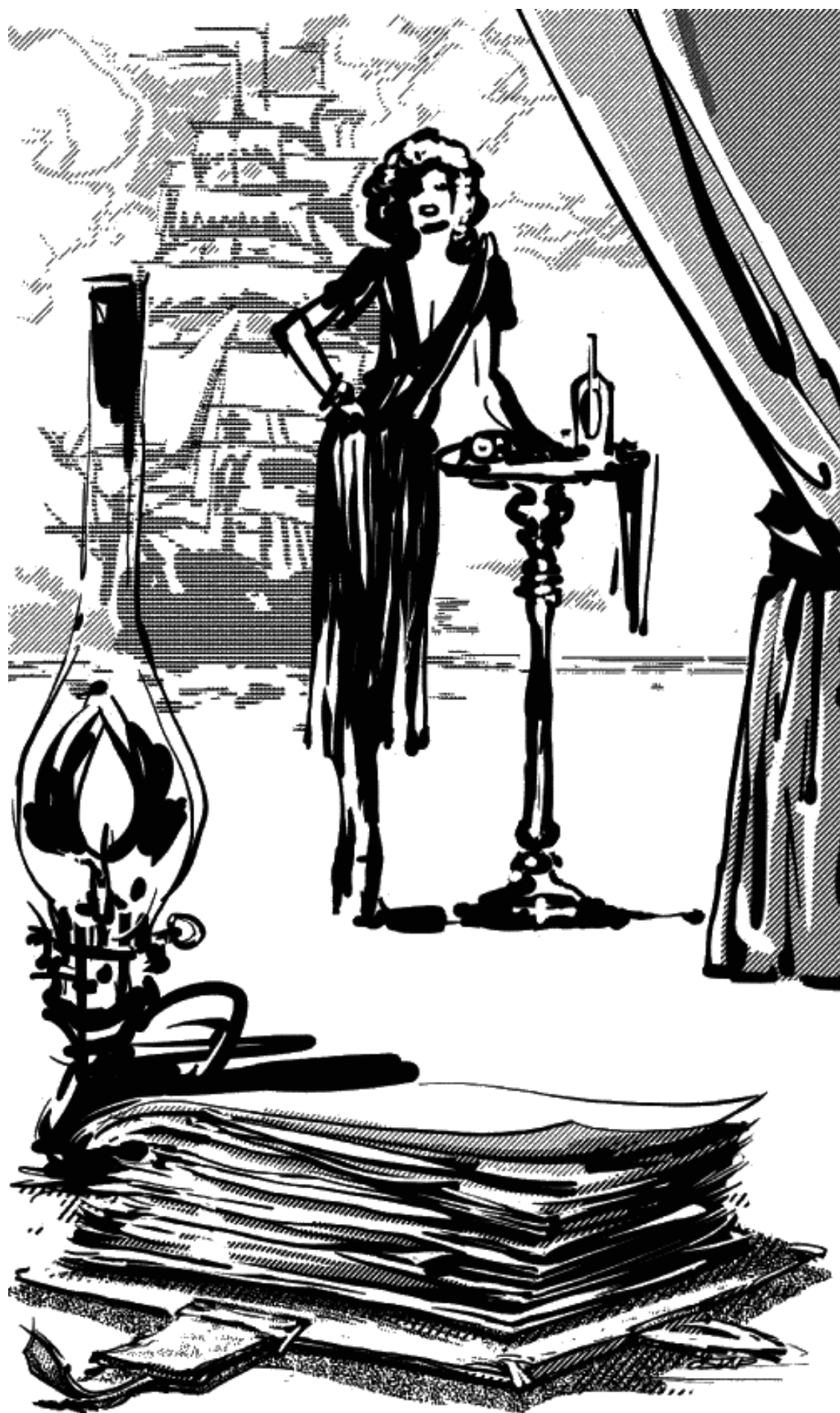
Встреча над Тускаророй

Немало лет тому назад я плавал старпомом на довольно большом пароходе «Коминтерн» – в пять тысяч тонн, добротной английской постройки. Ходили между Владивостоком и Камчаткой, изредка на юг – в Шанхай или поближе – в Гензан и Хакодате.

В июле 1926 года мы шли очередным рейсом в Петропавловск, с заходом в Хакодате, – следовательно, через Цугарский пролив. Вышли из Хакодате к вечеру, а через сутки привалил бешеный шторм, настоящий тайфун от зюйд-веста. Поднялось такое волнение, что, когда мы проходили траверз Немуро, волны стали закрывать судно. Мы имели ценный груз на палубе, а кроме того, разные хрупкие машины в трюме. Наш капитан Бегунов, очень славный, хотя и суровый старик, после короткого совещания со мной на мостике решил повернуть полнее бакштага, почти на фордевинд. Судно сразу перестало брать на себя воду и, невзирая на адскую волну, пошло спокойнее. Пришлось мне проложить новый курс вместо обычного: я оставил остров Сикотан к норду и пошел восточнее Курильских островов...

Штормом колотило нас всю ночь, и только на следующее утро стало стихать. Но ветер был очень свеж до самого вечера. К ночи же совсем стихло, и я рано завалился спать, так как устал за последние сутки отчаянно.

Ночь выдалась совершенно необычная в этих местах – безветрие, полный штиль, – ясная и безлунная. Я спал очень крепко, но, по прочно укоренившейся привычке, проснулся со звоном склянок. Хоть я и не сосчитал ударов, но знал, что до моей вахты полчаса. И действительно, почти сейчас же явился буфетчик с огромной кружкой горячего какао. Эту привычку я всем могу посоветовать – перед вахтой напиться горячего какао, тогда холод и сырость не страшны и ко сну сразу же перестает клонить. Я вскочил, быстро оделся, выпил какао и, закулив трубку, снова растянулся на койке. Как хороши эти десять-пятнадцать минут перед выходом на ночную вахту – в холод, мрак, сырость и туман!



Затягиваясь душистым, крепким табаком, я вслушивался в неравномерный всплеск волн и четкую работу машины. Ее мощный шум и легкое сотрясение всего огромного корпуса судна действовали успокоительно, вроде тихой музыкальной мелодии. В каюте было тепло, яркий свет лампы падал на столик с лежавшей на нем интересной книгой – наслаждение, которое я предвкушал после вахты. Я с удовольствием осмотрел свою каюту – крошечный «особняк», несущийся на двадцатифутовой высоте над страшной зеленой глубиной Тихого океана, – и подумал, что профессия моряка увлекла меня прежде всего тем, что она оставляла мне много времени на размышления, к которым я всегда был склонен.

Мои мысли были прерваны стуком в дверь. Дверь распахнулась, и на пороге появилась массивная фигура капитана.

– Что вы бродите в такую рань, Семен Митрофанович? – спросил я, садясь и поворачивая к нему тяжелое кресло. – Еще, наверно, не рассвело.

– Ну как не рассвело! Скоро огни гасить можно... Эх, и погода же редкостная!..

– Вот в такую-то погоду только и спать, – сказал я. – Ну, я-то, конечно, страдалец – мне на вахту, – а вы что?

– Эх, молодежь! Вам бы только понежиться! – добродушно отвечал капитан. – А мне, старику, много спать не нужно. Я уже палубу обошел, убытки от шторма посчитал... Кстати, Евгений Николаевич, вы ортодромию вашу днем проверьте, чтобы не только по счислению было, – добавил он, в то время как я обматывал шею шарфом и натягивал пальто.

– Обязательно, Семен Митрофанович, трасса у нас новая, – ответил я капитану и чиркнул спичку, закуривая трубку.

Резкий толчок и последовавший за ним глухой удар потрясли корпус судна. Почти одновременно раздался грохот где-то в кормовой части, и шум машины прервался. Несколько секунд мы с капитаном молча глядели друг на друга, прислушиваясь. Вот машина возобновила работу – и снова тот же грохот, сменившийся тишиной. Горящая спичка, которую я продолжал держать в руке, обожгла палец, и я, опередив капитана, кинулся из каюты...

Все, кто много плавал, поймут мои чувства в те минуты, зная, с каким невольным страхом воспринимается остановка машины в открытом море. Мощное сердце корабля своим биением сообщает ему жизнь и силу для борьбы со стихией. Но вот оно остановилось, и корабль мертв, теперь он игрушка неверного океана...

Повернув к трапу, я поскользнулся и тут только заметил, что судно имеет крен на левый борт. В этот момент меня догнал капитан. Прерывистое дыхание выдавало его волнение, но посевший на море старик не произнес ни слова.

На палубе было темно. Едва обозначившийся рассвет отмечал только общие контуры судна. Дверь штурманской рубки была раскрыта, и из нее падала полоса света. С мостика послышался встревоженный голос третьего помощника:

– Беда, Семен Митрофанович! Налетели на риф... Винт, кажется, разбит, руль заклинило...

Капитан сердито крикнул:

– Какой, к черту, риф? Здесь глубочайшая пучина океана!

«Ну конечно, Тускарорская впадина», – немного успокаиваясь, сообразил я.

Капитан поднялся на мостик. Мое место было на палубе.

– Боцман, подвахтенных наверх, приготовить лот! – приказал я.

Напрягая зрение, я видел, как капитан склонился к переговорной трубе. «Говорит с механиком», – подумал я. Слабо зазвенел телеграф. Снова послышался грохот под кормой. Звонок телеграфа совпал с прекращением работы машины.

– Евгений Николаевич, давайте лотом по правому борту! – донесся голос капитана.

Я отдал команду. Боцман откликнулся из темноты:

– Нет дна!

– Ближе к носу у крамбола! – скомандовал капитан.

– Две марки и две! – отозвался боцман.

– Четырнадцать футов? Что за черт! – воскликнул я.

По левому борту глубина оказалась от двенадцати до восемнадцати футов, за кормой – двадцать футов.

Рассветало. Я перегнулся через борт, стараясь что-нибудь рассмотреть в темной воде, плескавшейся внизу. Было то тяжелое и медлительное дыхание моря, которое зовется мертвой зыбью. С удивлением я воспринял мерное покачивание парохода на крупной и длинной волне. Это покачивание не сопровождалось ударами, что было бы неизбежно при посадке на риф. Капитан позвал меня на мостик. Перегнувшись через перила, он упорно всматривался в волны с левого борта. Вспыхнул прожектор. Серая мгла рассветных сумерек отошла дальше от корабля. Я заметил, что под левым бортом корабля волны были меньше, чем кругом, – короткие и плоские.

– Евгений Николаевич, дайте скорее место судна по счислению!

– Есть, Семен Митрофанович! – ответил я и направился в штурманскую рубку.

– Шлюпку спустить! – послышался голос капитана. – Петя (так звали третьего помощника), вы с лотом в шлюпку.

Мое уважение к капитану, без лишней суеты выяснявшему аварию, еще более возросло. «Молодец старик!» – думал я, накладывая транспорты на карту, и слышал шаги капитана за спиной.

– Ну что? – спокойно спросил он, едва взглянув на карту, где наколотая точка легла вдали от Курильских островов, над страшными глубинами Тускароры.

Внезапная догадка молнией пронеслась в моем мозгу. Даже стало стыдно за свою несообразительность.

– Я, кажется, понял, Семен Митрофанович, – проговорил я.

– Что поняли?

– На судно затонувшее налетели.

– Так оно и есть, – подтвердил капитан. – Шансов один на миллион, а вот повезло же нам, нечего сказать... Ну, как там промеры?

Мы вышли на мостик.

Шлюпка уже пристала к левому борту. Как мы и ожидали, даже в небольшом удалении от корабля дна не было.

Наступило ясное утро. Из трюмов вернулись ревизор и боцман, доложившие, что течи нет. В это время к нам поднялся начальник водолазной спасательной партии, которую мы везли для снятия с мели японского судна «Америкамару», – опытный морской инженер.

Он обошел судно, потом поднялся на мостик.

– Начнем, командир? – спросил инженер.

– Ладно, давайте скорей, – согласился капитан. – Везли вас японца спасать, да и сами в спасаемых очутились.

Два водолаза, широкие, как комоды, – по-видимому, огромной силы люди – приступили к сборам. Я сам несколько раз совершал короткие спуски под воду, но еще ни разу не видел работы водолазов в открытом море и с интересом наблюдал за ними.

Промерами на шлюпке была установлена приблизительная ширина потонувшего судна. С левого борта укрепили выстрел, с которого сбросили узкий трап. Водолаз вооружился длинным шестом и начал спуск прямо в волны, время от времени упираясь шестом в борт парохода и раскачиваясь на трапе. Вдруг он отпустил лестницу и сразу скрылся под водой, оставив на поверхности тысячи воздушных пузырьков.

Начальник водолажной партии стоял на борту у телефона. Он помахал нам с капитаном рукой, подзывая к себе.

Мне показалось, что в лучах поднявшегося над горизонтом солнца под кораблем смутно очерчивается какая-то темная масса.

– Пройдите назад! – закричал в телефон инженер. – Да... Ну, проползите!.. А дальше? Хорошо...

– Что хорошо-то? – не утерпел капитан.

На это инженер ничего не ответил. Прошло, как мне показалось, много минут напряженного ожидания. Мембраны телефона время от времени глухо гудели.

– Попробуйте проникнуть в кормовое помещение или в трюм, – сказал инженер и передал телефон второму водолазу. – Ну, вот что, командир, – сказал он, поворачиваясь к капитану, – чудеса, да и только! Навстречу нам под водой шел какой-то затонувший корабль. Мы с размаху налетели на него. Наш «Коминтерн», оказывается, отличается очень острыми обводами – он и вошел в корпус погибшего судна, как топор в бревно, и, видимо, крепко завяз. Потонувший корабль – очень старый деревянный большой парусник. Мачты обломаны, конечно. Форштевень «Коминтерна» сидит в кормовом помещении парусника, а винт и руль находятся как раз над обломком бушприта. Они, слава богу, целы. Когда пробовали провертывать машину, винт бил о бушприт. Крепок же этот старинный парусник – вот что удивления достойно! У нас две тысячи двести сил – и ни с места!

– Объясните-ка мне, товарищ инженер, – спросил капитан, – как мог потонувший корабль столько времени плавать, да еще под водой, на манер подводной лодки?

– Очень просто: судно-то деревянное да, наверно, и груз у него легкий. Я послал водолаза в трюм посмотреть, что там. А под воду это вы его своим пароходом загнали – он, наверно, чуть-чуть над водой высывался... Да, конечно, пусть поднимется! – прервал свои объяснения инженер, обращаясь к водолазу у телефона.

Собравшаяся у борта команда да и мы с капитаном смотрели на поднимавшегося водолаза как на вестника из неизвестной страны. Этот человек смело опустил в воду посреди океана и глубоко под пароходом ходил по погибшему кораблю, много лет носившемуся в морских просторах. Веселые, слегка озорные глаза снявшего скафандр водолаза ничем не выдавали утомления, которое он несомненно должен был испытывать. На совещании в штурманской рубке водолаз начертил примерный корпус потонувшего корабля, удививший нас своими старинными очертаниями. Зная, что я интересовался всегда историей флота и особенно парусных кораблей, капитан спросил меня, не смогу ли я определить класс и возраст судна. По грубым контурам, набросанным водолазом, разумеется, было очень трудно решить что-нибудь. Во всяком случае, это был трехмачтовый корабль весьма больших размеров, с широким корпусом и приподнятой кормой. Я решил, что ему не менее ста лет со времени постройки. Водолаз сообщил, что корпус корабля построен из очень плотного дерева. Трюм, по-видимому, забит доверху легкими пластинами пробки.

Немного подумав, инженер решил попробовать подорвать правый борт парусника, с тем чтобы плавучий груз вывалился. Тогда тяжелый, пропитанный водой деревянный корпус корабля пойдет ко дну собственным весом, и мы освободимся.

– Ну что ж, давайте освобождайте, ради всего святого! – воскликнул капитан.

Инженер снова задумался.

– Какие еще затруднения? – с тревогой спросил капитан.

– Дело в том, что для этой работы нужно два человека – будет скорее и, главное, безопаснее. Если через трюм не проникнуть к борту, то придется снаружи долбить, а с течением очень тяжело справляться. Еще счастье, что так необыкновенно тихо, а то совсем плохо было бы.

– Но ведь у вас два водолаза, – сказал я.

– Водолазов-то два, но один должен быть наверху, у насоса, – ведь часть наших специалистов вперед на «Лозовском» уехала. Вот и думаю, как быть...

Тут я вспомнил о своем небольшом водолазном опыте и подумал: «А что, если мне спуститься?» Конечно, страшно было спускаться в открытом море, но я был уверен, что как вспомогательная сила пригожусь. Я предложил инженеру свои услуги в качестве второго водолаза и в ответ на его недоверчивую улыбку рассказал о своих возможностях.

– Ну, уж пусть сам водолаз решит, берет он вас в помощники или нет, – сказал инженер.

Водолаз оглядел меня оценивающим взглядом и задал несколько вопросов о работе в скафандре. Мои ответы как будто удовлетворили его, и он согласился иметь меня помощником, предупредив, что если меня как следует долбанет о корпус, чтобы я обижался только на самого себя.

Я выслушал внимательно все наставления, думая в то же время, что если «долбанет о корпус», то вряд ли я вспомню советы водолаза...

Команда отнеслась к моему погружению с дружеским и веселым энтузиазмом, и, пока одевали меня в скафандр, я успел наслушаться немало острых словечек, на которые моряки мастера.

Наконец все приготовления были закончены. Надетый шлем как-то сразу отделил меня от привычного мира. Водолаз уже скрылся под кораблем, когда я, не особенно ловко передвигая пудовые ноги, стал спускаться по трапу. Все мое внимание было поглощено качавшейся подо мною темно-зеленой поверхностью воды. Я должен был одновременно надавить затылком на выпускной клапан, вытравить побольше воздуха и поднырнуть под волну в момент ее отдачи назад. Я удачно проделал это, и через несколько секунд густой сумрак окутал окошечко шлема. Вода действительно сильно била меня с левой стороны, и, только напрягая все силы, я удержался на чем-то, наклонно поднимавшемся вверх справа от меня, и смог оглядеться. Яркое светившее над морем солнце давало достаточно света. Сначала я различал только общие контуры потонувшего корабля, пересеченные косой черной тенью, падавшей от борта «Коминтерна». Затем я увидел квадратный выступ – остаток какой-то палубной постройки, а за ней толстый обрубок, как я понял потом – обломок мачты, прислонившись к которому стоял водолаз. Я немедленно добрался до него и направился следом за ним к борту парусника. Это был трудный спуск по скользкой, покрытой водорослями, раковинами и слизью наклонной поверхности. Но вода, давя навстречу, хорошо поддерживала нас. Как мы условились еще наверху, мы решили проникнуть в трюм через разбитое кормовое помещение.

Борт погибшего судна обозначался четкой линией, за которой прекращалось отражение слабого света, падавшего сверху. Дальше была темнота – обрыв в чудовищную пучину абсолютно черной воды, и я внутренне содрогнулся, представив себе, что борт судна висит над восьмикилометровой глубиной...

Вместе с колыханием волн по палубе потонувшего судна бежали пятна солнечного света. Следя за тусклыми и зеленоватыми бликами солнца, я старался воссоздать облик корабля. Тренированная на очертаниях старых парусников память помогла мне в этом. Сквозь толщу наросших раковин и извивающиеся хвосты водорослей я скорее угадал, чем увидел трехмачтовый корабль с широким корпусом весьма массивной постройки. Низкий и тупой нос, высокая корма говорили о XVIII столетии. По очень толстому обломку бушприта угадывалась его значительная длина, что было также типично для судов XVIII века. В общем, корпус сохранился великолепно, даже крышка трюмного люка была налицо. Немного впереди грот-мачты начиналась большая вмятина. Продавленная килем нашего судна палуба просела, карленсы перекосились, торчали переломанные бимсы, придавая этой части судна вид мрачного разрушения, усиленного глубокой чернотой, царившей в проломах и щелях.

Я застыл в недоумении перед хаосом изломанных балок и досок, но мой спутник включил сильный электрический фонарь и сразу же повернул налево. Здесь действительно, как я и предполагал «теоретически», чернел правый коридор юта, уцелевший от разрушения при

столкновении судов. Я тоже включил свой фонарь, и плечом к плечу с водолазом мы вошли в густой мрак, осторожно нащупывая ногами доски палубного настила. Направо от нас чуть серел свет, проходивший, как я догадался, в задние кормовые окна, или, вернее, в то, что от них уцелело. Несомненно, люки в трюм, если они и были, остались позади нас, наверно, несколько правее, и мы миновали их, проникнув глубоко внутрь кормы. Подталкиваемый жгучим любопытством, я быстро сообразил, что свет должен проходить через кают-компанию, а напротив нее, по обыкновению, должна быть каюта капитана. На правой от меня стенке, где сейчас колыхалось чуть заметное серое пятно света, должен быть вход в каюту, которая, возможно, хранит тайну этого корабля. Я решительно двинулся направо. Красноватый в воде свет электрического фонаря скользил по черно-бурой стене без признаков каких-либо отверстий. Я положил на стену руку в резиновой перчатке и, ведя ею по ослизлым доскам, вскоре нащупал ребро дверной рамы.

«По-видимому, дверь здесь», – догадался я и начал толкать стену плечом. Но она не поддавалась. Я ударил по стене ломом, который на четвертом ударе пробил дерево и чуть было не выскользнул из моих рук, подавшись в пустоту, вернее, в воду за дверью. Еще и еще нажимал я на дверь, когда за моей спиной расплылся световой круг фонаря водолаза. Он приблизил свой шлем к моему, и я увидел в полутьме его удивленное и встревоженное лицо. Я указал ему на дверь. Он согласно кивнул. В это самое время до моего сознания дошел голос инженера, настойчиво повторявший: «Товарищ старпом, что с вами, почему не отвечаете?» Я коротко сообщил, что пробрался в кормовое помещение, все в порядке, сейчас будем пробираться в трюм. Голос в телефоне успокоенно замолк, и я снова обратился всеми помыслами к двери в капитанскую каюту. В том, что за этой дверью была именно каюта капитана, я был безотчетно и совершенно уверен.

Водолаз провел рукой по краю дверной ниши и всунул свой ломик между дверью и дверной коробкой. «Черт возьми! Наверно, дверь открывается наружу», – осенило меня, и я присоединил свои усилия к медвежьей силе водолаза. Не прошло и двух минут, как мы стояли в непроглядной тьме того помещения, которое когда-то служило капитану. Наши фонари не давали много света, помещение было большое, и я так и не мог себе представить точный вид капитанской каюты. Пол под нами был ровный и скользкий. Какие-то куски дерева – должно быть, остатки мебели – постоянно попадались нам. Носок моего тяжелого ботинка стукнулся обо что-то. Свет фонаря вырвал из темноты угол квадратного ящика, лежавшего на боку у левой стены каюты.

– Ага! – обрадованно вскричал я.

И сейчас же совсем из другого мира возник голос инженера:

– Что «ага»?

– Ничего, все в порядке, – поспешил ответить я и нагнулся за ящиком.

Он был не тяжел, но мне, и без того обремененному инструментами и уставшему от непривычной работы, было очень трудно нести эту дополнительную ношу.

Водолаз тем временем обошел каюту по правой стороне и тоже нашел два небольших ящика, которые нес, зажав под мышкой. Он удовлетворенно кивнул, увидев мою находку. Не найдя больше в каюте ничего примечательного, мы приступили к «совещанию». Переговорив через верхние телефоны, то есть через судно, мы вынесли наши находки на палубу и положили в укромное место. Затем снова вернулись в коридор и как-то очень быстро разыскали проход в трюм.

О дальнейшем я вряд ли сумею рассказать сколько-нибудь связно и подробно. Это был тяжелый труд в бесконечной черноте узких, загроможденных проходов. Наконец мы с водолазом выполнили нашу задачу и заложили несколько зарядов на участке днища и правого борта судна. Когда все кончилось и соединения проводов были проверены, я почувствовал, что измотался окончательно, и без сил прислонился к массивному пиллерсу где-то в трюме

близ кормы. Водолаз понимал мое состояние и дал мне немного отдышаться. Поднимаясь снова на палубу, что оказалось совсем нелегким делом, я обрадовался тусклому мерцанию солнечного света и в последний раз обвел взглядом необыкновенную картину палубы потонувшего судна – резко очерченную в мутном свете правую скулу корабля и торчащий обломок бушприта.

Я подал сигнал «поднимайте». Нарастающая масса света хлынула на меня, волны снова грозили ударами, блеск поверхности моря был неожидан и радостен... Пока ловкие руки снимали с меня шлем и освобождали от тяжести скафандра, был поднят и мой спутник.

Устало опустившись на кнехт, я с восхищением смотрел на водолаза, казалось, несколько не потерявшего своей задорной бодрости и после второго спуска.

– Ну, молодец ваш старпом! – обратился водолаз к капитану. – Справился что надо! Мы с ним – вернее, он – еще исследовательский поход проделали и в командирской каюте что-то нашарили. – И он кивнул в сторону нашей добычи, уже поднятой на палубу.

– С этим потом, – сказал инженер, – сейчас палить будем.

Глаза всех собравшихся на палубе людей в настороженном ожидании были прикованы к маленькому коричневому ящику индуктора, перед которым на коленях стоял инженер, закручивая рукоятку. Вращение рукоятки все убыстрялось, маленькая машинка мелодично жужжала. Все слушали затаив дыхание. Было очень тихо, только плеск волн доносился из-за высокого борта. Достаточно было едва уловимого движения тонких пальцев инженера на кнопке замыкателя, как глухой гул подводного взрыва ударил по нервам. «Коминтерн» покачнулся, его железный корпус загудел, как гигантский рояль. С левого борта плеснула высокая волна. В откатившейся массе воды замелькали куски темного дерева, еще через несколько секунд поверхность воды покрылась массой почерневших пластин пробки – это всплыл на поверхность груз из трюма корабля. Все моряки, от капитана до кока, с одинаково жадным вниманием ждали, что будет дальше. Послышался сильный, но приглушенный скрип, за скрипом последовал легкий толчок, как бы поддавший пароход снизу. Мы продолжали ждать, но больше ничего не было слышно, только по-прежнему плескали волны и глухо стучали в борт обломки, всплывшие после взрыва.

Общее молчание нарушил спокойный голос инженера:

– Ну что ж, командир, давайте ход.

– Как, разве уже все? – встрепенулся капитан.

– Ну конечно!

Капитан кинулся на мостик, зазвенел телеграф, и внезапно возникший шум машин не сопровождался уже более жутким грохотом. Корабль ожил и двинулся. Под носом зашумели волны. Когда «Коминтерн» повернул, ложась на курс, все мы дружно крикнули:

– Инженеру – ура!..

– По местам! – послышалась команда капитана, против обыкновения закутившего на мостике, и палуба опустела.

Я с неохотой поднялся с кнехта, подошел к водолазу, своему товарищу по подводным приключениям, и крепко пожал ему руку. Потом я заглянул через борт назад, где в отдалении колыхались на волнах обломки, вырванные взрывом из парусного судна, и с неприятным чувством какого-то совершенного мной убийства представил себе, что судно, так долго странствовавшее после своей гибели, сопротивляясь времени и океану, сейчас медленно погружается в глубочайшую пучину... Ощущение сильного нервного подъема, владевшее мною все время, ослабло, а затем и совсем исчезло. Вместо него телом и мозгом завладела неодолимая усталость. Я сказал матросу, чтобы он отнес наши находки в штурманскую рубку, а сам поплелся на мостик.

Капитан увидел меня и протянул мне обе руки:

– Ну и молодец вы, Евгений Николаевич, ну и молодец! Спасибо вам. Баночку первосортного рома разопьем вечерком с главным спасителем нашим. – Жест в сторону инженера. – А вы идите-ка отдохните – вижу, как устали!..

Я быстро спустился с мостика и, ополоснувшись под душем, отправился в свою каюту. Бросившись в постель, я еще некоторое время видел то туманный подводный свет, то колебание солнечных бликов, то черноту трюма... Каюта равномерно подрагивала от движения машины, пароход спокойно шел своим курсом. Все происшедшее отодвинулось в небытие... Через минуту я уже крепко спал.

Был вечер, когда я проснулся с ощущением чего-то необычного, что ждет меня, и сразу вспомнил о своих находках. Одевшись и наскоро поев, я сразу же направился к капитану, где увидел оживленное общество, подогретое первоклассным ромом, до которого я и сам большой охотник. Как только я пришел, капитан распорядился расстелить на ковре брезент, и мы приступили к вскрытию найденных ящиков. Большой ящик, не поддававшийся долоту – он был сделан из крепкого дерева, – раскрылся только после нескольких добрых ударов топором. По каюте разнесся странный, острый запах. К нашему разочарованию, в ящике мы обнаружили только кашу с лоскутами кожи – все, что осталось от судового журнала. Капитан, инженер и механик невольно рассмеялись, увидев, как вытянулись наши физиономии – моя и водолаза. Мы вскрыли один из двух маленьких ящиков, найденных водолазом. В нем оказался старинный бронзовый секстант. Оттерев слой зелени с одной стороны, я смог прочесть латинскую надпись. Смысл ее был в том, что секстант «сделал механик Даниэль... (фамилию забыл) в Глазго. 1784 год». Эти данные, по существу, ничего не значили, так как английские инструменты могли находиться на любом судне, а пользоваться ими могли много лет при необыкновенной прочности старинных английских приборов.

Однако третий ящик принес нам радость, хорошо знакомую всякому, добившемуся желанной цели. Ветхий наружный футляр из дерева при первой же попытке его открыть легко распался в наших руках, обнажив тускло заблестевшую в ярком электрическом свете оловянную банку, покрытую крупными каплями воды. Банка была закрыта надвигавшейся сверху толстой крышкой, очень туго забитой. Крышку снять было невозможно, и мы срезали ее по верхней кромке принесенной механиком ножовкой. Под ней оказалась вторая крышка, плоская, закручивающаяся, с кольцом посередине. Мы отвинтили ее сравнительно легко и с торжеством извлекли из банки, внутренность которой только отсырела, но не содержала ни капли воды, свернутую трубкой пачку бумаг.

Второй раз в этот день раздалось дружное «ура».

Небрежно свернутая, слегка измятая пачка плотной бумаги, серой и очень легко рвущейся, сделалась центром внимания. Какие-то химические процессы или сырость в банке уничтожили все написанное на верхней и нижней частях каждого листка. Точно так же очень сильно пострадали листы, составлявшие наружную часть свертка. Уцелели только немногие страницы, составлявшие среднюю часть пачки листов, а также отдельный, сложенный вчетверо лист светло-желтой бумаги, вложенный в пачку. Этот лист и дал нам ключ к пониманию всего происшедшего.

Крупные неровные буквы покрывали немного вкось четыре желтые странички. Старинный английский язык несколько затруднял чтение. Написанное разбирали мы с инженером, остальные помогали в затруднительных случаях. На отдельном листке было написано примерно следующее:

«12 марта 1793 года, 6 часов пополудни, широта 38°20 южная, долгота 28°45 восточная, по утреннему счислению. Воля Всевышнего Творца да будет надо мной. Примите же, неизвестные люди, мой последний привет и прочтите важные сообщения, мною прилагаемые к сему. Я, Эфраим Джессельтон, владелец и капитан прекрасного корабля «Святая Анна»,

считаю свои последние минуты в этом мире и тороплюсь сообщить обстоятельства своей гибели.

Я вышел из Капштадта рано утром 10 марта, имея направление на Бомбей, с заходом в Занзибар. Днем миновал мыс Бурь, за которым был встречен необычайно большим волнением, очень сильно бросавшим корабль. К ночи с северо-востока налетел сильный ураган, заставивший дрейфовать, склоняясь к зюйду, под передними топовыми парусами. Весь следующий день «Святая Анна» лежала в дрейфе, борясь с нарастающей силой урагана. К утру буря еще усилилась, достигнув невиданной, невообразимой силы. Я потерял одну за другой все мачты. Мужество экипажа не раз спасало корабль от верной гибели. Но посланная нам судьбой чаша страданий не была исчерпана. Ряд исполинских волн беспощадно обрушился на корабль, который, как и его команда, изнемог в дикой борьбе. Течь в носу и на палубе лишила «Святую Анну» остойчивости, и в 5 часов пополудни корабль нырнул носом, затем лег набок и стал погружаться. В момент этой последней, непоправимой катастрофы я находился в своей каюте. Только что я вошел и старался достать...» Дальше следовал очень неразборчивый кусок записи, затем снова можно было прочесть: «...страшный треск и крен корабля, вопли и богохульные ругательства пересилили неистовый рев и грохот волн. Я упал и сильно разбил себе голову, потом откатился на внутреннюю стену каюты, поднялся и сделал попытку выбраться через дверь, очутившуюся теперь наверху, посередине стены. Но толстая дверь была, по-видимому, чем-то завалена и не поддавалась моим усилиям. Задышавшись, весь в поту, я упал на пол в полном изнеможении, безразличный к близкой смерти. Немного оправившись, я снова попытался выломать дверь, ударяя в нее креслом, потом ножкой стола, но лишь изломал мебель, даже не повредив двери. Я стучал и кричал до полной потери сил, но никто не пришел мне на помощь, и я уверился в гибели своих людей и стал ждать своей кончины. Прошло много времени, однако вода в каюту прибывала очень медленно: за час ее набралось не более фута. Потрясенный катастрофой до глубины души, я не сразу сообразил, что очень легкий груз моего корабля – мы везли пробку из Португалии – и прославленная крепость корпуса «Святой Анны» не дадут кораблю сразу пойти ко дну. Таким образом, я имею некоторое время для того, чтобы вспомнить, прежде чем погибнуть, о своих открытиях. Я хочу попытаться передать их людям, так как по беспечности и неутолимой жажде пополнить их не успел этого сделать ранее.

Необработанные записи моих исследований морских пучин между Австралией и Африкой хранятся в особой банке. Сюда же я вкладываю и эту последнюю запись в надежде, что остатки моего корабля, несомые на поверхности океана, будут или прибиты к берегу, или осмотрены кем-нибудь в море: я знаю, что ценности и документы корабля всегда ищут в каюте капитана... Масло уцелевшего каким-то чудом фонаря догорает, в каюте уже три фута воды. Сатанинский рев урагана и качка не ослабевают. Я слышу, как огромные волны прокатываются сверху по корпусу «Святой Анны». Вот оно, крушение всех моих замыслов и жалкая гибель взаперти, внутри уже мертвого корабля! Но, как ни слаб, как ни ничтожен человек, луч надежды озаряет меня. И если я не спасусь сам, то, может быть, моя рукопись будет прочитана и дело мое не пропадет...

Больше медлить нельзя. Вода прибывает все быстрее и скоро зальет шкаф, на котором я пишу стоя и держу банку с записями. Прощайте, неизвестные люди! И не берегите моей тайны, как сделал это я, жалкий безумец. Поведайте о ней миру. Да свершится воля господ. Аминь».

Инженер закончил последние слова перевода, и все мы долго молчали, подавленные этим простым рассказом об ужасной катастрофе и мужестве давно погибшего человека.

Первым нарушил молчание механик:

– Представляете себе, как он писал это при тусклом свете старинного фонаря, запертый в погибающем корабле! Твердые люди были в старину...

– Ну, такие, положим, есть и сейчас, – перебил капитан. – Давайте-ка высчитаем: он писал в тысяча семьсот девяносто третьем – это значит, что корабль плавал до встречи с нами сто тридцать три года!

– Меня другое удивляет, – сказал инженер. – Посмотрите широту и долготу катастрофы. Она произошла где-то у Южной Африки, а мы столкнулись со «Святой Анной» у Курильских островов...

– Ну, этому легко найти объяснение, – ответил капитан и достал большую карту морских течений. – Вот смотрите сами. – Толстый палец капитана скользнул по синим, черным и красным полосам на голубом фоне морей. – Вот очень мощное течение южных широт. Безусловно, катастрофа произошла в его пределах, к зюйд-осту от Капа. Оно идет на восток, почти до западных берегов Южной Америки, где заворачивает к северу. Тут оно смыкается с очень сильным южным экваториальным течением, идущим на запад, почти до Филиппинских островов. А вот тут, против Минданао, сложный круговорот, поскольку тут еще разные противотечения. Отдельные течения идут отсюда на север и попадают в Куро-Сиво. Вот уже и ясен путь этого плавучего гроба...

Сидевший около меня водолаз взволнованно обратился к инженеру:

– Товарищ начальник, значит, он так и погиб в своей каюте?

– Ну конечно.

– А как же мы с товарищем старпомом его костей не нашли?

– Что же тут удивительного? – сказал инженер. – Разве вы не знаете, что кости в морской воде со временем растворяются? А сто тридцать три года – срок, достаточный для этого.

– Злое море! – произнес ревизор. – Доконало моряка да и костей не оставило.

– Почему злое? – возразил я. – Наоборот, приняло в себя еще лучше, чем земля. Разве это плохо – раствориться в необъятном океане, от Австралии до Сахалина?..

– Вы только послушайте его! – попробовал пошутить капитан. – Пойдешь и сам утопишься.

Но никто не улыбнулся его шутке. В сосредоточенном молчании мы обратились к уцелевшим листам рукописи.

Почерк был тот же, но более мелкий и ровный. Должно быть, эта рукопись была написана в спокойные минуты раздумья, а не в лапах надвигающейся смерти. К общему разочарованию, оказалось невозможным прочитать даже те страницы, которые не были полностью испорчены сыростью. Чернила побледнели и расплылись. Разбирать чужой язык, да еще с незнакомыми старинными оборотами речи и терминами, было для нас непосильным делом. Мы отделили те страницы, которые можно было прочесть. Их оказалось совсем мало, но, к счастью, они шли одна за другой. Сохранились они только потому, что находились в самой середине пачки. Таким образом, мы имели целый, хотя и незначительный, кусок рукописи. Я до сих пор довольно точно помню его содержание:

«...Четвертый промер оказался самым трудным. Кранбалка трещала и гнулась. Все пятьдесят человек экипажа выбились из сил, работая у брашпиля. Я радовался прочности бимсов да и вообще тому, что так много положил труда на постройку корабля исключительной прочности для долгих плаваний в бурных сороковых широтах. Четыре часа упорного труда – и над волнами показался бронзовый цилиндр: мое изобретение для взятия проб воды и других веществ со дна океана. Помощник быстро повернул кранбалку, и массивный цилиндр повис, качаясь, над палубой. Из-под затвора очень тонкой струйкой брызгала вода, выжимаемая огромным давлением. В этот момент боцман перекинул рычаг задержателя, но так неудачно, что задел матроса Линхэма, наклонившегося, чтобы подобрать последнее кольцо перлиня. Удар пришелся по виску над ухом, и матрос упал как подкошенный. Кровь брызнула из раны. Его закатившиеся глаза и побелевшие, закушенные губы показывали, что ранение тяжелое. Линхэм упал прямо под водомерный цилиндр, и вода, стекавшая струйкой

по цилиндру, потекла на рану. Когда мы подбежали и подняли матроса, кровь уже почему-то перестала течь. Не прошло и часа, как Линхэм, перенесенный в лазарет, очнулся. Он поправился необыкновенно быстро, хотя впоследствии и страдал головными болями, по-видимому, от сотрясения мозга. Рана же закрылась и зарубцевалась уже на следующий день.

Вначале я не догадался сопоставить неслыханно быстрое заживление раны с тем, что на нее попала вода, добытая из глубины океана. Однако матросы немедленно сделали такой вывод, и по судну разнеслась молва о живой воде, добытой капитаном со дна океана.

Утром ко мне явился матрос Смит и попросил полечить чудесной водой гнойную язву у него на руке. Я намочил платок в добытой вчера пробе воды и отдал ему, а сам занялся изучением пробы. Ее удельный вес был довольно велик – тяжелее обычной морской воды. Цвет ее, налитой в прозрачный стакан, был необычен – голубовато-серого оттенка. В остальном я не мог обнаружить ничего особенного даже на вкус. Я налил всю пробу в бутылку, чтобы отвезти своему другу, ученому-химику в Эбердине. Окончив работу, я ощутил необычайный прилив сил, бодрости, какой-то особенной жизненной радости. Я приписал это действию выпитой мной глубинной воды и, по-видимому, не ошибся. Что касается язвы Смита, то через два дня она совершенно зажила. С тех пор на все время нашего пути до Англии я держал в каюте небольшой пузырек с чудесной водой и очень успешно лечил ею раны и даже желудочные заболевания.

Мы взяли эту пробу с самого глубокого места – из большой круглой впадины на дне океана, на 40°22 южной широты и 39°30 восточной долготы, с глубины 19 тысяч футов.

Это было моим вторым большим открытием в океанских глубинах. До этого я считал самым замечательным находку необычайно едких красных кристаллов на глубине 17 тысяч футов, к северо-западу от мыса Бурь...

Я мечтал о том, что сделаю еще два срочных рейса с грузом для денег – проклятых денег! – и после этого смогу исследовать глубины океана выше сороковой широты на юг от Капа, где капитан Этебридж обнаружил огромные впадины на большом протяжении. Я думаю, что найду в этих таинственных пучинах древние вещества, сохранившиеся в глубине, где нет ни течений, ни волн, и никогда не появлявшиеся на поверхности...

Как обрадовался бы моим открытиям великий Лаперуз, который рассказывал мне о своих догадках и, собственно, повернул мои размышления к глубинам южных широт! Но смерть рано унесла от нас этого гениального человека, я же считаю преждевременным сообщать миру о своих открытиях и не сделаю этого, пока не исследую пучин Этебриджа...

На последней сохранившейся странице была подчеркнута дата «20 августа 1791 года», далее шли слова: «...в 100 милях к востоку от восточного берега Кафферской земли мы встретили голландский бриг, капитан которого сообщил, что шел из Ост-Индии в Капштадт, но вынужден был отклониться к западу, уходя от урагана. Три дня назад он натолкнулся на место в море, покрытое высокими стоячими волнами, как будто бы вода была замкнута в огромном невидимом кольце. Эти волны начали так бросать его судно, что капитан испугался за целостность швов и обтяжку такелажа, и действительно, вскоре бриг дал течь. По счастью, это место было всего несколько миль в ширину, и бриг довольно быстро под свежим бакштагом миновал эту площадь стоячих волн. Мне было интересно узнать, что очень редкое и почти никому неизвестное явление наблюдалось этим далеким от всяких выдумок простым моряком. Я тоже видел это явление и догадался, что появление таких волн всегда на круглой площади обозначает...»

На этом кончалась страница и с нею все записи, которые мы смогли разобрать.

Вернувшись из этого рейса с «Коминтерном» во Владивосток, я вскоре получил назначение на «Енисей» – новый пароход, купленный в Японии. Этот грузовик в девять тысяч тонн перегонялся в Ленинград, и я был назначен на него старпомом – в виде, так сказать, премии за активное участие в спасении «Коминтерна». Мне очень не хотелось расставаться

с «Коминтерном», его капитаном и командой, с которыми я свыкся за два года совместного плавания, но интерес к новому большому рейсу все же взял перевес над всеми другими соображениями. Я с болью в сердце расцеловался на прощанье со старым капитаном и со всеми другими своими товарищами по пароходу.

По дороге «Енисей» вез лес в Шанхай. Оттуда он должен был идти в Сингапур за оловом. Затем предстоял заход на Гвинейский берег, в Пуэнт-Нуар, за дешевой африканской медью, только что начавшей поступать на рынок. Следовательно, нам предстояло идти не через Суэц, а через Кап, вокруг Африки, то есть побывать как раз в местах гибели «Святой Анны». Короче говоря, этот рейс интересовал меня как нельзя более. Я перенес свой необъемистый скарб, в том числе и оловянную банку с драгоценной рукописью капитана Джессельтона, в отличную каюту старпома на «Енисее» и с головой погрузился в бесконечные и сложные мелочи приемки корабля. Мне нечего рассказать вам о самом плавании, проходившем, как и на множестве других судов, днем и ночью идущих по морям всего мира. Немало пришлось мне повозиться вместе с капитаном с прокладкой курсов в незнакомых местах и с грузовыми операциями. Бурные воды сороковых широт помиловали нас и не задали нам крепкой штормовой трепки, но все же к моменту прихода в Кейптаун я порядочно устал. Было очень приятно, что в силу необходимости снестись с нашими представителями в Кейптауне получилась задержка, и я смог около трех дней полностью провести на берегу, бродя по этому очаровательному городу и его окрестностям.

Я не последовал обычному стандарту моряков и променял разноплеменную суету Эддерлей-стрит на одинокое любование этим удаленным от моей родины уголком земли. Величественная красота окрестностей Кейптауна навсегда запала мне в душу. Поднявшись на вершину Столовой горы, я любовался с высоты огромной белой дугой города, окаймляющей широкую Столовую бухту. Налево, далеко к югу, вдоль плоских крутых гор полуострова уходили фестончатые, сияющие на ярком солнце бухты. Ослепительная белая полоса пены прибоя окаймляла золотые серпы прибрежных песков. Позади, к северу, тянулись ряды голубых огромных гор. Хребтистая масса остроконечной Львиной горы отделяла полумесяц Кейптауна от приморской части Си-Пойнта, где даже с высоты была видна сила прибоя открытого океана. Я съездил на ту сторону полуострова, в Мейзенберг, и испытал ласкающую негу теплых синих волн Игольного течения.

По дороге, на знаменитом винограднике Вандерштеля в Вейнберге, я пил превосходное столетнее вино и не уставал восхищаться, сидя в машине, старинной архитектурой голландских домов под огромными дубами и как-то особенно благоухающими соснами. В последний день своего пребывания в городе я взял с утра такси и поехал на Морскую аллею – высеченную в скалах дорогу к югу от Си-Пойнта. Красные обрывы скал пика Чапман тонули в пене ревающего прибоя. Ветер обдавал лицо солеными брызгами. Овеянный ветром, взбодренный мощью океана, я миновал склоны Двенадцати Апостолов и бухту Камп и решил задержаться на вечер, уединившись на берегу открытого океана в предместье Си-Пойнт, известном мне по прежнему посещению Кейптауна своим уютным кабачком. Стеннело. Невидимое море давало знать о себе низким гулом. Я миновал окаймленный асфальтом бульварчик и повернул направо, к знакомой светло-зеленой двери, освещенной матовыми шарами на двух столбиках. Нижний зал, облюбованный моряками, тонул в табачном дыму, был полон запаха вина и гула веселых голосов. Хозяин знал, что сильнее всего трогает сердце моряка, и вот искусная скрипка донесла с эстрады нежные звуки Брамса.

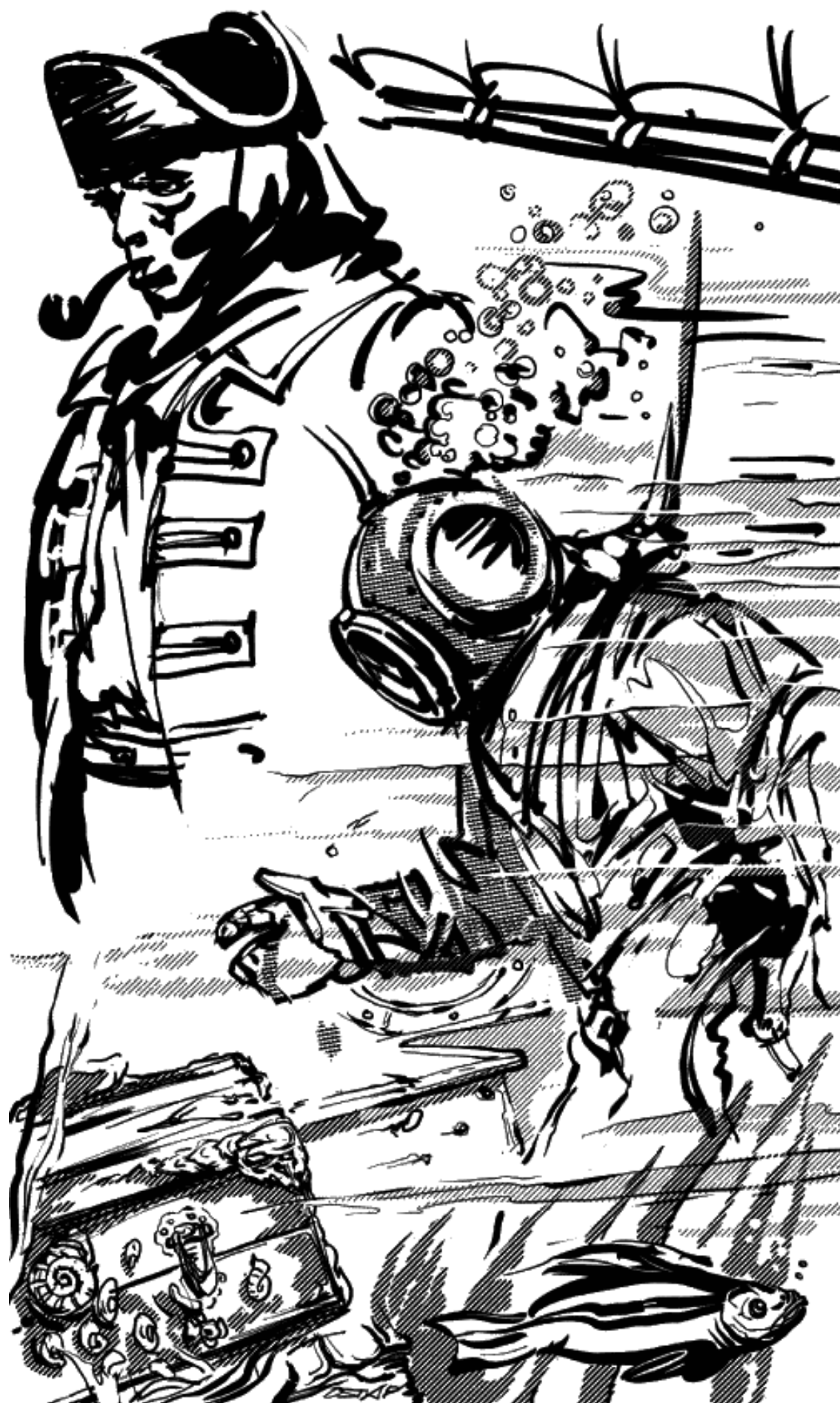
Тихая неосознанная приятная печаль расставания охватила меня в этот вечер. Кому из нас не приходилось переживать эту печаль разлуки с очень понравившимся, но совершенно чужим местом! Вот завтра утром ваш корабль уйдет, и вы, наверно, навсегда проститесь с прекрасным городом – городом, через который вы прошли как чужой, ничем не связанный

и свободный в этом отчуждении. Вы наблюдали незнакомую жизнь, и она всегда кажется почему-то теплой, красивой, чего, наверно, нет на самом деле...

В таком ясном и грустном настроении я уселся за столик, стоявший у выступа стены. Официант, привлеченный блеском моих нашивок, услужливо подскочил ко мне и принял заказ на основательную порцию выпивки, которой я хотел отметить свой отъезд. Я разжег трубку и стал наблюдать за оживленными, раскрасневшимися лицами моряков и нарядных девушек. Хорошая порция рома, разбавленного апельсиновым соком, дала желаемое направление моим мыслям, и я погрузился в неторопливые размышления о чужой жизни и о том восхитительном праве неучастия в ней, которое всегда ставит зоркого странника на какую-то высшую в сравнении с окружающими людьми ступень.

Скрипка снова запела, на этот раз цыганские напевы Сарасате. Я всегда любил их и всей душой отдался звукам, говорящим о стремлении вдаль, печали расставания, о неясной тоске по непонятному... Мелодия оборвалась. Я очнулся и полез в карман за спичками. В это время на эстраду вышла невысокая девушка. Я ощутил, как говорят французы, сердечный укол – такой неожиданной и неподходящей к этому кабачку показалась мне мягкая и светлая красота девушки. Мне трудно описать ее, да и ни к чему, пожалуй. Встреченная одобрителем гулом, девушка быстро подошла к краю сцены и запела. Ее голос был слаб, но приятен. Пение ее, по-видимому, любили, так как в зале воцарилась тишина. Она спела несколько песен, насколько я понял – любовно-грустного содержания. Мне понравилась какая-то тонкая, особенная обработка мотива, характерная для ее исполнения. Когда она скрылась за кулисами, гром рукоплесканий и восторженные вопли вызвали ее обратно. Она появилась снова, на этот раз в довольно откровенном костюме. Начался танец с прищелкиванием каблучков и повторением каких-то задорных куплетов под одобрительный смех присутствующих. И так не вязалась тонкая красота девушки с этой пляской и куплетами, что я ощутил подобие легкой обиды и отвернулся, наливая себе вино... Затем я занялся тщательным раскуриванием трубки, вынул часы... и вдруг быстро повернулся к эстраде, так и не посмотрев, который же час. Девушка, оказывается, снова переменила костюм. На этот раз она была в черном бархатном платье с кружевным воротничком, что придавало ей какой-то старинный и трогательный облик. Занятый трубкой, я прослушал начальные слова песенки, которую она пела теперь. Но когда до моего сознания сквозь звуки рокочущей мелодии дошло название корабля «Святая Анна», я напряг слух и внимание, чтобы следить за быстрым темпом песни. Действительно, в песне говорилось о бесстрашном капитане Джессельтоне, избородившем южные моря, о высоких мачтах корабля «Святая Анна» и – представьте себе мое удивление! – о том, что капитан на пути около острова Тайн зачерпнул живой воды, веселящей живых и оживляющей мертвых, но вслед за тем исчез без следа со своим кораблем. Песенка кончилась, девушка поклонилась и повернулась уходить. Я стряхнул с себя невольное оцепенение, вскочил и стал так громко кричать «бис», что удивил соседей.

Девушка посмотрела в мою сторону, как будто бы удивившись, улыбнулась, отрицательно покачала головой и быстро ушла со сцены. Опомнившись, я немного смутился, потому что сам не терплю бурных проявлений чувств. Но песенка девушки не позволяла мне думать ни о чем другом. Я ломал голову, стараясь разгадать связь погибшего корабля с певичкой в кейптаунском кабачке. Желание разыскать девушку и расспросить ее обо всем выросло и окрепло. И в ту же минуту, подняв глаза, я увидел ее прямо перед собой.



– Добрый вечер, – негромко сказала она. – Вам понравилась моя песенка?

Я встал и пригласил ее за свой столик. Подозвав официанта, я заказал для нее коктейль и только после этого взглянул ей в лицо. Усталая бледность проступала на нем, говоря о нездоровой жизни. Забавная манера презрительно вздергивать свой красивый носик скрашивалась милой и как бы смущенной улыбкой. Гладкое бархатное платье облегалo ее фигуру, обозначая высокую грудь.

– Вы немногословны, капитан, – сказала насмешливо девушка, повышая меня в чине. – Кто вы, где ваша родина?

Узнав, что я из Советской России, девушка стала смотреть на меня с нескрываемым интересом. Я, в свою очередь, спросил, как ее зовут, и мое сердце невольно забилося сильнее, когда она ответила:

– Энн (Анна) Джессельтон.

Она принялась расспрашивать меня о моей далекой родине. Но я отвечал ей односложно, целиком поглощенный мыслью о протянувшихся через годы нитях судьбы, так странно связавших эту девушку с моей находкой на затонувшем корабле. Наконец, улучив момент, я спросил ее о родных и об отношении ее к капитану, о котором она пела в песенке. Выразительное личико Энн стало вдруг замкнутым и высокомерным, она ничего не ответила мне. Я продолжал настаивать, сделав в то же время намек на то, что интересуюсь капитаном Джессельтоном неспроста и что в силу особых обстоятельств имею право на это.

Девушка резко выпрямилась, и большие ее глаза посмотрели на меня с явным недоброжелательством.

– Я слыхала, что русские – чуткие люди, – с расстановкой произнесла она. – Но вы... вы такой, как все. – И ее маленькая рука обвела кругом шумный и дымный зал.

– Послушайте, Энн, – пробовал протестовать я, – если бы вы знали, чем вызвано мое любопытство, вы...

– Все равно, – перебила она, – я не хочу и не могу говорить с вами о важном, о своем здесь, и когда я... – Энн запнулась, потом продолжала снова: – А если вы думаете, что ваши деньги дают вам право лезть ко мне в душу, то спокойной ночи, я сегодня не в настроении!

Она встала. Встал и я, раздосадованный нелепым оборотом дела.

Энн посмотрела на мое огорченное лицо, глаза ее смягчились, и с милостивым видом она попросила проводить ее домой. Я расплатился, и мы вышли вместе. Запах и шум близкого моря сразу охватили нас. Пересекая широкую пустынную улицу, я взял Энн под руку. Вправо, вдаль, темной массой сбегал в море мыс Си; налево, за освещенными электрическим заревом крышами домов и темной зеленью Грин-Пойнта, блестел маяк на Сигнальном холме. Мы углубились в тень аллеи небольших деревьев, и я начал без всяких предисловий рассказывать о последнем своем плавании на «Коминтерне» и о приключении с потонувшим кораблем. В заключение я сказал, что записки капитана Джессельтона находятся сейчас в моей каюте. Энн слушала не перебивая. Рассказ, как видно, всецело захватил ее. Потом она внезапно остановилась у калитки в ограде небольшого садика, перед темным домом. Свет фонаря на высоком столбе проникал через кроны низких деревьев, и я хорошо видел большие печальные глаза девушки. Она пристально смотрела на меня, и выражение ее глаз совсем не соответствовало насмешливому тону голоса:

– Да, вы, без сомнения, настоящий моряк, если можете так здорово выдумывать...

Энн тихонько рассмеялась, взялась за пуговицу моего кителя и, легко поднявшись на носках, поцеловала меня... В ту же минуту она скрылась за калиткой, в тени деревьев, куда не доходил свет фонаря.

– Энн!.. Одну минуту! – вскричал я, охваченный волнением.

Никто не ответил мне. Я постоял с полминуты с неопределенным чувством разочарования. Затем повернулся и только сделал несколько шагов обратно по аллее, как был остановлен голосом Энн:

– Капитан, когда уходит ваше судно?

Я посмотрел на светящийся циферблат часов и сухо ответил:

– Через четыре часа... Чего вы хотите от меня, Энн?..

Ответа не последовало. Я услышал лишь легкий стук захлопнувшейся двери...

Ехать на корабль было еще рано, возвращаться в кабачок не хотелось. Я медленно пошел пешком вдоль моря по направлению к яркой затухающей звезде Сигнального холма. Вокруг горы до порта было не больше четырех километров. Весь этот путь я прошел со смутным ощущением какой-то утраты... На подъеме к Грин-Пойнту ветер, налетев с простора открытого океана, обнял меня. И, как много раз до этого, мелкими показались мне все мои огорчения перед лицом океана...

С рассветом я вышел на широкую аллею между доком Виктории и мысом Муйл, а еще через полчаса спокойно рассматривал багряные верхушки волн в бухте, поджидая катер. «Енисей» еще вчера отошел на рейд, готовый к выходу в дальний путь.

Я вернулся на корабль, спустился в свою каюту и лег на диван. Выходная вахта была капитана, но мне не хотелось спать. Я сунул голову под кран, потом выпил горячего кофе и вышел на верхний мостик – полюбоваться городом, очарование которого за два посещения крепко запало мне в душу. Мне захотелось подольше пожить здесь, у подножия фантастических гор, в тесной близости к океану. Синева бухты, прорезанная прямыми линиями двух волнорезов, окаймлялась амфитеатром белых домов города. Еще выше шла полоса густой зелени огромных деревьев, над которой поднимались синевато-серые кручи Пика Дьявола и Столовой горы, составлявшие исполинскую верхнюю часть амфитеатра. Направо, за крутой дугой берега, скрывался Си-Пойнт – место, уже ставшее для меня не чужим.

Громкий удар колокола на баке возвестил панер.¹ Свисток корабля, работа брашпиля, привычные слова: «Якорь чист!» – и «Енисей», разворачиваясь и сигналив, начал набирать ход.

Время шло, и ослепительное солнце сильно жгло палубу, когда «Енисей» изменил курс, склоняясь к норду. Очертания трех гор Кейптауна постепенно погрузились в море, скрывшись за волнами. Сменив капитана, я стоял на мостике. Широко улыбаясь, ко мне подошел капитан с какой-то бумажкой в руке: «Я получил вот это, но, наверно, оно адресовано вам – не даром вы столько времени в городе пропадали».

Недоумевая, я взял у него телеграмму, только что принятую радистом: «Капитану русского корабля. Жалею о вчерашнем, нам нужно увидеться, обязательно ищите меня, когда будете снова. Энн». На одно мгновение я увидел перед собой обаятельное лицо девушки... Ощущение утраты снова охватило меня. Но я преодолел очарование и спокойно сложил телеграмму. Я был уверен, что расстался с Кейптауном на многие годы, если не навсегда. И даже ответить ей я не смогу, так как она не догадалась дать мне свой адрес... Я поднял руку вверх и разжал пальцы. Свежий морской ветер мгновенно подхватил телеграмму и, крутя, опустил ее в пенный след винта...

Едва я попал в Ленинград, как сразу же принялся за дело. Морские специалисты, с которыми я говорил об открытии Джессельтона, только недоумевали и сомневались. Но, по совету приятеля, я обратился к знаменитому геохимику академику Верескову. Старик чрезвычайно воодушевился моим рассказом и объяснил, что в океанских впадинах, образовавшихся в древние времена, мы безусловно можем найти в глубинах давно исчезнувшие с поверхности земли вещества – минералы и газы с сильно отличными от ныне известных

¹ Панер – один из моментов съемки с якоря, когда якорная цепь приходит в вертикальное положение.

физическими и химическими свойствами. Но их надо искать в древних пучинах, очень редких в Мировом океане и известных как раз в области южных широт между Австралией и Африкой. Однако на мой вопрос о непосредственном значении для науки найденной мною рукописи академик ограничился неопределенным замечанием, что указание широты и долготы имеет некоторое значение. Потом ученый сказал мне, что на основании данных, добытых столь необыкновенным путем, никто не возьмется сделать какое-либо заключение. Проверку открытий Джессельтона могла бы сделать специальная экспедиция, но опять-таки: кто же возьмется снарядить дорогостоящую далекую экспедицию, пользуясь столь сомнительными указаниями?.. Уходя от ученого, я ощутил такую же грусть разочарования и утраты, как в далеком Кейптауне. То, что казалось мне безусловно ярким и важным, как-то сразу потускнело, и я понял, что чем невероятнее и чудеснее встреченная в жизни случайность, тем труднее убедительно рассказать о ней...

Голец Подлунный

– Попробую и я рассказать вам кое-что, – сказал молчавший весь вечер Георгий Балабин, коренастый, плотный, похожий на медведя человек, заросший до глаз короткой щетиной бородой.

За этой простоватой внешностью скрывались знания и огромный опыт заслуженно уважаемого в ученом мире исследователя Сибири.

– Во всех ваших рассказах, – продолжал Балабин, – я подметил одну особенность: необычайное, встреченное почти каждым из вас, как бы соответствует внутренним исканиям каждого... Разве эти встречи не результат многолетних, может быть, бессознательных, поисков? Терпеливое стремление тренирует нашу чуткость, дает умение отделить настоящее от случайного – это своего рода внутренний компас, который в нужную минуту всегда подскажет вам, что вы на верном румбе... И кто знает, быть может, мы потому и встречались в жизни с интересными и замечательными событиями, что постоянно следовали этому своему компасу.

В Восточной Сибири есть Витимо-Олекминский национальный округ. Северо-восточная часть этой обширной горной страны, примыкающая к южной границе Якутии, представляет собою сплошной узел горных хребтов, едва ли не самых высоких во всей Сибири. Недоступность и безлюдье этих мест исключительные. До самого последнего времени путешественники в них не бывали. Пятнадцать лет тому назад мне пришлось первому пересечь это «белое пятно» на карте. Я говорю «первому», подразумевая, конечно, ученых-исследователей. Коренные жители страны – тунгусы и якуты – во время своих охотничьих перекочевков исходили вдоль и поперек и эту дикую область. Тунгусские охотники сообщали мне не раз драгоценные сведения об участках, еще не пересеченных маршрутами, и уверенно чертили подробные карты речек, ключей и горных хребтов. Даже самые мелкие речки, служившие основными путями при кочевьях, имели у них свои названия. Не так обстояло дело с гольцами. Практический ум таежного охотника избегал лишнего загромождения памяти названиями не важных для передвижения или обитания мест, и для горных вершин мне приходилось придумывать названия самому.



Итак, в конце декабря 1935 года я находился на реке Токко, готовясь покинуть пределы Якутии и пройти к верховьям реки, в Витимо-Олекминский национальный округ. От моей большой экспедиции остался лишь маленький отряд; остальных сотрудников я направил в сторону Алдана и на Лену, расширив район своих исследований.

Сам же я, невзирая на свирепые морозы и недостаточные запасы продуктов, стремился пересечь горный узел, доступный легче всего именно в зимнее время, когда бурные реки, бушующие в непроходимых ущельях, скованы льдом и передвижение по дну ущелий на оленьих нартах не встречает особых затруднений. Три моих спутника были незаменимы каждый в своем роде. Якут Габышев – проводник, он же вожатый и хозяин оленьего каравана, геолог Александр и рабочий Алексей, исполнявший обязанности повара, золотоискатель и охотник, – все испытанные таежники, не раз ходившие со мной в глухие места Сибири.

Восьмой месяц моего путешествия близился к концу, но впереди была еще очень трудная часть пути. Наш караван из семи нарт с четырьмя запасными оленями быстро двигался по замерзшей реке, и все больше мест долины Токко наносились впервые на географическую карту. Река изменила свое извилистое течение, оправдывавшее ее название («токкорикан» – по-тунгусски «извилистый»), и текла теперь поразительно прямо. День за днем планшеты нашей съемки пристраивались к большой карте – результату многомесячного упорного труда, показывая широкую прямую долину, направляющуюся к истокам реки – к югу. День за днем раздавался в тишине дробный стук оленьих копыт, скрип покачивающихся нарт, и мы уносились всё дальше, туда, где вставала над округлыми волнами низких сопот зазубренная линия мрачных гор.

Мы продвигались по однообразной местности – южному краю Ленской платформы. Это невысокое плато, расчлененное на бесконечные ряды сопот почти одинаковой высоты, мы старались, несмотря на короткие дни, проехать как можно скорее. Двадцать первого декабря закругленные, покрытые темной щетиной елового леса сопот сменились длинными, заострившимися кверху увалами, поросшими лиственницами, рыжевато-серый цвет которых резко выделялся на темной зелени лесов из ели и кедра. Это означало, что мы покинули пределы платформы с ее однообразным рельефом и известняками и подошли к передовым бастиям горной страны из гранитов и гнейсов – твердых пород древнейшего цоколя материка, поднятых здесь недавними движениями земной коры на большую высоту. Оживление геолога, до сих пор сумрачно сидевшего на своей нарте со съемочной планшеткой на груди, как нельзя лучше показывало перемену в окружающей местности.

Небо расчищалось и голубело над головой, низкие тучи плотной завесой отходили на юг, косо нависая над преддверием горной страны. Мороз усиливался, скрип нарт становился все звонче и выше тоном, над караваном вилось облако пара от короткого и частого дыхания оленей. Я удобно расположился на широких грузовых нартах, на вещах, поджав под себя левую ногу и свесив правую, игравшую роль тормоза и руля. Время от времени я перекладывал вожжу из одной руки в другую или тревожно пошевеливал пальцами ног, стараясь уловить грозные признаки замерзания, требовавшие немедленной пробежки. Мы давно прикончили наш запас масла – это понижало сопротивляемость холоду.

Серые облака впереди окрасились красным, и в углубления снежной пелены легли длинные голубые тени. Выпуклый крутой бок массивного гольца выдвинулся на повороте реки. Обогнув его, мы увидели, что долина образовала широкую развилину, разделенную массивной сопкой с зубчатым гребнем. Это и была большая развилина вершины Токко в месте впадения крупного левого притока Чироды. Отсюда долина Токко, превращаясь в узкое ущелье, загроможденное порогами, поворачивала к юго-западу, приближаясь к верховьям Чары. Там, в обширной котловине, между двумя высокими хребтами находился небольшой населенный пункт с факторией и радиостанцией. Туда мы и стремились для возобновления запасов продовольствия. Свернув в долину Токко, уже в сумерках мы быстро выбрали

место для палатки. В нашем давно путешествовавшем отряде все необходимые вечерние работы производились с быстротой и, я бы сказал, изяществом хорошо сыгравшейся труппы артистов. В сгущающейся темноте мы связали шесты, разгребли снег, поставили палатку и напилили дров. Алексей установил печку и занялся приготовлением обеда. Из торчавшей сбоку от входа в палатку печной трубы вырывалось бледное пламя. Оглядев в последний раз смутно черневшие на снегу нарты, мы вошли в палатку и, осторожно миновав раскаленную печку, погрузились в тепло. Что может быть приятнее первых минут в нагретой палатке после трудового дня на жестоком морозе? Яростно срываешь с себя обледенелый мокрый шарф, закрывающий лицо, снимаешь шапку. Еще немного терпения – и оленье шкуры постланы на лиственничных ветках, набросанных на мерзлую землю, развернуты спальные мешки. Освободившись от тяжелой одежды, закуливаешь огромную козью ножку и с наслаждением впитываешь всем намерзшимся телом чудесную теплоту.

Так было и в этот вечер, когда мы расселись в палатке, поджав ноги, и начали поглощать невероятное количество горячего чая в ожидании, пока сварится мясо. Большой мороз сушит не хуже зноя, пить целый день нечего, и к вечеру появляется неутолимая жажда. В благодатном тепле, при красноватом мерцании уютно потрескивающей печки, хмурые, обветренные лица отмякали, суровые морщины разглаживались. Наконец в печку перестали подкладывать дрова, и в палатку неумолимо стал забираться ледяной воздух. Нужно снова надевать ватники, запасные меховые носки и влезать в спальные мешки, тщательно закупориваясь. В тишине и резком холоде остывшей палатки еще некоторое время металось уже бессильное пламя угасавшей печки, освещая то висящие над головой для просушки унты, рукавицы, шапки и шарфы, то приготовленную на утро растопку, то угол выючного чемодана. Печка погасла. Сквозь дремоту до сознания доходили редкие звуки внешнего мира: далекий грохот оседающего льда, треск лопающегося дерева, беготня согревающихся оленей...

Следующий день, день зимнего солнцеворота, принес хорошую погоду и еще более крепкий мороз. Бледное небо стояло над нами высокое и ясное. В недвижимом воздухе морозного утра пар дыхания, вырываясь изо рта, сразу превращался в мельчайшие льдинки. Трение льдинок на лету друг о друга и производило характерное тихое шуршание. Этот тихий шелест, называемый якутами «шепотом звезд», означал, что мороз больше сорока пяти градусов. Геолог, взявшийся голой рукой за оставленный на ночь снаружи ртутный термометр, невольно издал крик удивления: стеклянная палочка термометра разлетелась на длинные иглистые осколки, а замерзший ртутный шарик прилип к пальцам. Пришлось извлекать со дна чемодана спиртовой термометр, который вскоре показал почтенную цифру 57°.

Возобновив запас дров и согревшись горячим чаем, мы разбрелись по своим делам. Геолог поехал на нартах вверх по Чироду, проводник ушел проверять оленей, Алексей – промыывать золото. Я решил взобраться на гольц, чтобы осмотреться и заснять с высоты окружающую местность. Иначе трудно было разобраться в частоколе горных пиков.

Лагерь опустел. Палатка, наполовину скрытая мелкими лиственницами, казалась совсем маленькой, затерянной среди огромных скал. Выбрав пологий отрог, я начал медленно подниматься по звонко скрипевшему, немыслимо чистому снегу. Гладкие подошвы моих унтов скользили: приходилось цепляться за стволы деревьев. Морозный воздух не давал возможности глубоко дышать. Это очень утомляло; крупные капли замерзшего пота окружали лицо по краю меховой шапки. Но все же я достиг небольшой площадки на вершине гольца, где стояли две большие глыбы гранита, обточенные ветрами и покрытые лишайником. Я вскарабкался на макушку одной из глыб и оглянулся кругом.

Позади склон гольца круто обрывался в широкий распадок, густо заросший кедром и казавшийся сверху пушистым ковром с узором из темно-зеленых и белых пятен. Налево, за ребристой сопкой, шла белая полоса замерзшей Чироды, направо такая же полоса обозначала Токко. С юга из голубой солнечной дали подходила покрытая серебристой дымкой

стена хребта Удокан. Эта стена приблизительно на расстоянии полусотни километров от меня переламывалась углом и поворачивала на восток к Олекме. В месте перелома хребта высилось скопище огромных гольцов, значительно превосходивших по высоте все виденные здесь мною.

Один голец особенно привлек мое внимание. Он стоял впереди всех остальных, ближе ко мне, одиноко поднимаясь, как гигантская, слегка суживающаяся кверху башня, верхушка которой увенчана тремя огромными зубцами. С трудом справившись с непослушным в каченеющих руках карандашом, я зарисовал виденное и взял компас засечки. Пора было спускаться.

Все та же застывшая тишина окружала меня, не чувствовалось ни малейшего колебания воздуха. По-прежнему высоко стояла надо мной чистейшая голубизна неба, такого же глубокого, как окружающая тишина. Каменный, застывший, скованный морозом мир был враждебен мне. И я почувствовал, как острая тоска по теплым странам шевельнулась в моей душе...

Еще с детских лет я безотчетно любил Африку. Детские впечатления от книг о путешествиях с приключениями сменились в юности более зрелой мечтой о малоисследованном Черном материке, полном загадок. Я мечтал о залитых солнцем саваннах с широкими кронами одиноких деревьев, о громадных озерах, о таинственных лесах Кении, о сухих плоскогорьях Южной Африки. Позднее, как географ и археолог, я видел в Африке колыбель человечества – ту страну, откуда первые люди проникли в северные страны вместе с потоком переселявшихся на север животных. Интерес ученого еще более укрепил юношеские мечты о душе Африки – о могучей, все побеждающей древней жизни, разлившейся по просторам высоких плоскогорий, водам мощных рек, по овеваемым ветрами побережьям, открытым двум океанам...

Мне не пришлось осуществить свою мечту и стать исследователем Черного материка. Моя северная родина по необъятности не уступала Африке, а неизученных мест в ней было не меньше. И я сделался сибирским путешественником и попал под очарование беспредельных безлюдных просторов Севера. Только изредка, когда тело уставало от холода, а душа – от хмурой и суровой природы, меня охватывала тоска по Африке, такой интересной, манящей и недоступной...

Беспощадный мороз вернул меня к реальности. Я спустился со склона и пошел в лагерь. Солнце уже зашло за голец, но еще никто из товарищей не вернулся. Я затопил печку, поставил котел с замерзшим чаем и опустился на оленью шкуру, ожидая, когда палатка нагреется настолько, чтобы можно было раздеться.

Двадцать третье и двадцать четвертое декабря были трудными днями. Долина Токко превратилась в узкое ущелье, стиснутое боками высоких гольцов. Весь снег со льда был начисто сметен бушевавшими в теснине ветрами. Река застыла неровными буграми, вздымавшимися по всему течению, повторяя контуры волн на перекатах и порогах. В ущелье часто раздавался грохот, отдаленный гул или низкий стон лопающихся и оседающих льдин. Местами изо льда торчали острые зубья камней.

Странно и жутко было идти, скользя и балансируя, и видеть прямо под своими ногами, сквозь зеленоватую прозрачную плиту льда полуметровой толщины, бушующие волны реки, мелькавшие в зеленоватом мерцании с огромной быстротой. Особенно жутким казалось то, что этот хаос воды и пены неся под нашими ногами совершенно беззвучно, как будто заколдованный тяжелой морозной мглой, нависшей в ущелье. Продвижение каравана по гладкому льду связано с большим трудом. Олени совершенно беспомощны на скользкой твердой поверхности – копыта их разъезжались в разные стороны, животные бились, падали.

Из глубины ущелья послышался глухой шум, который все нарастал и вскоре превратился в низкий непрерывный рев. Мы приблизились к одному из самых больших порогов,

мощную силу которого не смогли укротить даже пятидесятиградусные морозы. Белый туман заполнял ущелье почти наполовину высоты его отвесных стен из темно-серых метаморфических сланцев. Темная в белой рамке льда и снега вода плавно закругленным валом вспучивалась на трехметровую высоту, переваливалась вниз, разбивалась в пену и брызги об острые камни и с ревом бросалась на скалу правого берега, там, где над чернеющими, выдолбленными водой пустотами нависли, едва держась, огромные глыбы. Левый берег был также обрывист. От скалы шел гладкий скат огромной льдины, спадавший прямо в порог. Проход был опасен и узок, но другого пути не было.

Геолог, подъехавший первым, нахмурился, взялся за связку – ремень, соединяющий недоуздки каждой пары оленей, – и медленно повел свою упряжку. Следующая очередь была моя. Я встал между головами своих быков, беспокоившихся и неторопливо стремившихся вперед, и стал молча следить за геологом. Помочь товарищу я не мог: нельзя было отпустить свою упряжку, так как каждый сантиметр, выигранный в начале прохода, правее, к стене ущелья, имел решающее значение. Упряжка геолога, продвигаясь вперед, неуклонно сползала на край льдины, к дымящимся волнам ревущего порога. Олени падали и снова вскакивали. Метр, полметра... Если левый бык упадет еще раз, все пропало. Бык не упал. Еще минута – и я приветствовал успех геолога криком, затерявшимся в шуме воды. Мои олени толкали меня носами и стучали рогами, как бы напоминая о моей очереди. Зайдя с левой стороны упряжки, я отжимал плечом оленей к каменной стене ущелья и провел нарты у самой вершины ледяного ската. По моему следу перебрались проводник и рабочий; затем мы перевели грузовые нарты.

Еще один незамерзший порог пришлось преодолеть к концу дня. Его рев убаюкивал нас ночью. Наутро, едва мы прошли три-четыре километра, за поворотом ущелья прямо в лоб ударил нам сильный и непрерывный ветер. На льду, на крутых скалах, среди редких голых деревьев – нигде не было ни одного местечка, в котором можно было бы укрыться от полета бесчисленных копий мороза. Мы шли, наклоняясь вперед, закутав лица так, что оставались лишь узенькие щелки для глаз. Олени низко опустили головы, почти касаясь снега черными носами. Сильный ветер при шестидесятиградусном морозе почти непереносим. Через несколько минут я почувствовал, что вся передняя половина тела застывает до полного онемения. Приходилось поворачиваться спиной, идти пятясь, пока не согреешься. Шум и свист ветра заглушали все звуки...

К вечеру мы вышли из страшного ущелья в громадную котловину – впадину с плоским дном, окруженную ступенчатыми горами. Перед нами расстилалось ровное снежное, сияющее в сумерках поле, окаймленное черной полосой леса. После шума ветра в ущелье тишина и покой поразили нас. Мы назвали эту впервые открытую нами котловину Верхне-Токкинской, пересекли ее по глубокому снегу и достигли в темноте опушки леса. Прошел еще один ничем не запомнившийся день однообразного передвижения. Проводник поднял нас очень рано. В неправдоподобных голубых сумерках, предвещавших ясный, как и все предыдущие, день, мы начали подъем на перевал в седловине двухвершинного гольца, покрытого обильным снегом. Поочередно мы выходили вперед, раздевшись до фуфайки, и протапывали лыжами дорогу для нарт. На морозе от идущего впереди валил пар, спина покрывалась инеем. Так, изнемогая и сменяя друг друга, мы доползли до вершины перевала между двумя пологими снежными скатами. Олени, хватая снег, сейчас же легли. Покутив, мы расселись по нартам и принялись спускаться с седловины по широкому склону, выходившему на огромный пологий скат в несколько километров ширины, спадавший к реке Тарыннах, притоку Чары.

Два темных пятна показались на обрыве справа. Проводник, ехавший во главе каравана, ловко остановил разбежавшихся оленей. Я быстро выхватил из-под брезента свой вин-

честер. Коричневые пятна вскоре превратились в двух великолепных толстых кабарожек.² Щелкнул отведенный мной назад затвор (из осторожности на тряской езде я не держал патрона в стволе). Кабарги вздрогнули. Внимательные черные глаза зорко следили за нами, тонкие ножки напряглись, готовые взметнуть своих владельцев вверх по склону. Затвор автомата не захлопнулся, а медленно пополз вперед и, дойдя до края патрона, остановился раскрытым. Как ни тщательно было вытерто масло, жестокий мороз сделал свое дело. Я шевельнулся, пытаясь дослать патрон; кабарги взвились по склону и исчезли в гуще листвянок.

Караван снова тронулся в путь, петляя между деревьями по склону.

– Тохто-о-о!..³

Внезапный вопль заставил меня вздрогнуть. Не размышляя, я скатился с нарт в снег и поймал их за задние копылья, чтобы своим телом сыграть роль тормоза. Нарты проводника уже скрылись за поворотом и исчезли. Скорость моих нарт была слишком велика; олени дернули, взметнулись в прыжке, и я ласточкой взлетел кверху, цепляясь за копылья. Не успев ничего сообразить, я уже лежал рядом с проводником, и тормозной олень грузовой нарты наступил мне на руку. Новый вопль:

– Тохто!

Из-за поворота показались две нарты геолога, и еще через секунду на склоне образовалась груда оленей, людей и нарт, продолжавших скатываться вниз. Ничего особенного не случилось – просто крутизна спуска внезапно превысила допустимый для проезда нарт предел. Мы обрушились на дно распадка. Я так ударился спиной о лед, что на минуту потерял дыхание. На гребне обрыва появились олени Алексея, отставшего от нас. Увидев груду тел и нарт, он растерялся и судорожно вцепился в нарты, вместо того чтобы спрыгнуть. Тела оленей вытянулись в прыжке, нарты перенесли через лежавшего под откосом геолога и, ударившись о лед, развалились на куски. Алексей остался сидеть на вещах, удивленно и испуганно моргая, а олени, оторвав бурундук, сделали несколько скачков и остановились.

Выяснив, что все олени целы и вещи не повреждены, мы посмеялись над своим приключением и решили ввиду поломки нарт добраться до ближайшего корма и ночевать. Проехав еще немного до начала обширного ската в Тарыннах, мы остановились в редком лесу. Здесь когда-то давно прошел пал – лесной пожар. После него успел вырасти молодой березовый и лиственничный подлесок. Старые лиственницы, лишенные ветвей и коры, – самое лучшее топливо, и мы запаслись им в избытке, а кроме того, разожгли громадный костер, чтобы отогревать и гнуть бурундуки и обвязку копыльев. Геолог с Алексеем пошли на ближайший ключ сделать промывку на золото, а мы с проводником заготовили весь материал для починки.

Стемнело. Мы пообедали и напились чаю, а товарищи всё не возвращались. Я решил выйти им навстречу. Дневная морозная мгла исчезла. Высоко над горами в прозрачном воздухе встала луна. Я вскоре увидел две темные фигуры, спешившие мне навстречу.

– Золотишко тут должно быть, – сказал геолог. – Правда, Алеша?

– Подтверждаю, – отозвался рабочий.

Мы закурили и молча стояли, очарованные лунной морозной ночью, покрывшей окружающий нас мир слоем искрящегося матового серебра.

– То не ваши ли страшные гольцы, Георгий Петрович? – спросил геолог и указал вверх по долине Тарыннаха.

Левее долины виднелась группа голубовато-серебряных пильчатых вершин с очень резко выделявшимися контурами. Глубокая черная тень скрывала подножия гольцов, а холодный свет высокой луны прочерчивал несуществующие пропасти и углублял далекие

² Кабарга – жвачное млекопитающее из семейства оленей.

³ Тохто! (якутск.) – Стой!

планы. Казалось, гигантская серебряная пила висела в воздухе, ни на что не опираясь. Отдельно от других стоял высокий башнеобразный пик с тремя зубцами на вершине, замеченный мною еще раньше. Трехзубчатой вершиной пик словно касался луны, под лучами которой сияли скалистые ребра и ледяные кручи его южной стороны.

– Вот и название хорошее для вашего пика, Георгий Петрович, – снова нарушил молчание геолог. – Голец Подлунный. Видите, уперся своими зубцами в луну...

– Очень хорошо, – согласился я, направляя компас на голец и беря вторую засечку.

Теперь расстояние до гольца стало известно, и он встанет точно на карту...

Работы по починке нарт были закончены к полудню, и, развалившись в палатке, мы отдыхали, обсуждая дальнейший путь. В три дня мы рассчитывали добраться до Чарской котловины и дня в два – по котловине до поселка. Пять дней – и можно будет спать в доме фактории, позволить себе роскошь раздеться, поесть как следует...

Послушать московские новости, если есть приемник!

Мы решили немного понежиться, прежде чем свертывать палатку, и лежали, делясь мечтами о скором приезде в поселок и небольшом отдыхе.

Мечты наши были прерваны неожиданными звуками – хрустением оленьего бега, скрипом нарт и человеческим голосом. После безлюдья скованной морозом тайги появление человека показалось чудом, и все, кроме меня, на ходу нахлобучивая шапки, выбежали из палатки. Я остался на месте, как и подобает начальнику, испытывавшему все виды таежных бед и радостей. Вскоре в дверь палатки, нагнувшись, вошел неизвестный мне человек, а за ним последовали и мои спутники. Вошедший уселся, поджав ноги, около печки, горделиво поднял голову и, ударив себя в грудь, громко произнес:

– О-хо! Улахан тойон (большой начальник).

Я спокойно и внимательно посмотрел на него, и он, смутившись, потупился и полез за трубкой. Это был высокий старый якут, необыкновенно худой. Большие ястребиные круглые глаза, горбатый нос, впалые щеки и узкое лицо с остроконечной бородкой напоминали Дон Кихота.

Я предложил старику свой кисет, подмигнул Алексею, чтобы тот поставил на печку свежий чай и мясо: раз «улахан тойон», так примем с подобающим почетом. Помолчав приличествующее время, я произнес обычную формулу:

– Капсе, тогор (рассказывай, друг).

– Со-охк, ень капсе (нет, нечего рассказывать, ты рассказывай), – протянул старик.

Мы обменялись еще несколькими традиционными фразами по-якутски; затем старик неожиданно заговорил по-русски, очевидно, найдя, что его русский язык лучше моего якутского. С большим интересом якут расспрашивал меня о путешествии, одобрительно кивая головой при упоминании мной названий особенно трудных мест пути. Несколько раз старик пытался меня поддеть на знании особенностей местной природы, но благодаря большому опыту странствований я оказался на высоте положения. Ему поднесли стаканчик спирта, он съел сытный обед и несколько размяк, утратив свою надменность. Он сказал, что покажет мне «такую штуку», какую я, наверно, не находил здесь. Старик быстро вышел из палатки и направился к своим двум нартам.

– Ты знаешь этого старика? – спросил я у Габышева.

– Знаю, – отвечал проводник. – Его Кильчегасов фамилия. Охотник хороший, всякий место знает.

Старик вернулся в палатку, и я прекратил расспросы.

– Такой видел на Токко? – хитро усмехаясь, спросил старик и протянул мне тяжелый обрубок бивня мамонта.

Я объяснил старику, что это бивень мамонта, и описал рукой в воздухе дугу, показывая его в целом виде. Кильчегасов опечалился, видя мою осведомленность, а когда я сказал, что, вероятно, он нашел бивень в подмыве берега, он и совсем погрузился.

– Много знаешь, начальник, – покачал он головой.

Польщенный признанием старика, я рассказал ему об островах в устье Лены, где бивни мамонтов валяются прямо на земле вперемешку с костями китов и обломками принесенных морем лесин. Якут внимательно выслушал меня, сплюнул и придвинулся ко мне, словно на что-то решившись.

– Твой умный человек, начальник, оннако ваши охотники тоже знают, чего-чего твой не знает. Я знаю голец, где такой мамонт рога, как лес лежит. Его, оннако, не кривой, какой я нашел, а прямой, мало-мало кривой.

– Это интересно! – удивился я.

Кильчегасов протянул руку за кисетом. Закурив, он поднял лицо кверху, будто вспоминая что-то.

– Мой отца брат согджоя⁴ гонял, ходил очень далеко, туда, – Кильчегасов махнул рукой на восток, – видел, потом рассказывал. Ты слышал, оннако? – обратился он к проводнику.

– Слышал. Думал – врал, – равнодушно отозвался Габышев.

– Оннако, не врал, его кусок рога, конец, приносил, я сам смотрел.

– Где же этот голец? – спросил я старика.

– А если близко, пойдешь смотреть?

– Конечно, пойду, – кивнул я.

Минутная пауза, и колебание, выразившееся на лице старика, исчезло.

Я развернул свою большую карту, на которой только вчера отметил место гольца Подлунного.

– Вот тут, между вершина Чирода и вершина Токко, много большой голец, прямо куча.

– Верно! – отозвался я.

Но старик не обратил на мой возглас никакого внимания.

– Вершина Чирода и Чиродакан около есть самый большой голец, как высокий пенё. (Мы с геологом переглянулись, узнав в метком слове старика своего вчерашнего крестника – голец Подлунный.) Это голец стоит сам один, сюда ближе Токко вершина. Право гольца есть высокий, ровный, чистый место – все равно стол. Это место рога, оннако, и лежат. Там еще есть дырка большой, и там тоже рога.

– А как отсюда, далеко будет? – спросил я, загоровшись любопытством.

– Этот место недалеко-о, – протянул старый якут. – Тарыннах пойдешь, вершина Тарыннах право пойдет, лево пойдет Ичончокит. Ичончокит вершина пойдешь на средний перевал, там ниже ровный место, оннако, маленький ключик. Этот ключик сходится Талу-макит. Токко вершина, оттуда налево будет речка небольшой... Киветы скала режет – все равно нож. Оннако, Киветы пойдет тот плоский место... – Кильчегасов подумал и сказал: – Верста девяносто ли, сто ли будет...

Старик умолк. Молчали и мы. Только дрова в печке глухо потрескивали. Я раздумывал о возможности сделать маршрут в сторону, по труднопроходимой местности, при почти иссякших запасах продовольствия. Геолог выжидательно поглядывал на меня, ничем не выдавая своих чувств. Габышев обратился к старику по-якутски, и оба они тихо заговорили. Я уловил лишь несколько знакомых слов: «большой порог... корма много... нартами не ехать... черта много...»

– Где это много черта, Габышев? – вмешался я в их разговор.

⁴ Согджой – дикий северный олень.

Я знал, что под «чертом» тунгусы и якуты подразумевают необъяснимые, с их точки зрения, явления природы.

– То место я слышал, там черта много, – подтвердил проводник, – оннако, еще большой порог есть, там смерть близко ходи.

– Какой порог? Речки-то все маленькие.

– То не речка: порог большой – весь дорога.

Мы поняли, что речь идет о ригеле – отвесном уступе, иногда перегораживающем поперек ледниковые долины. Я все колебался, не подавая виду. В конце концов, сто километров в один конец по сибирским масштабам – пустяки. Вопрос в лишних днях, которые надо прибавить к пяти, отделяющим нас от отдыха в поселке. Попасть снова в эту недоступную область вряд ли придется.

Я взглянул на Кильчегасова:

– Пойдешь с нами до того места?

По оживлению моих спутников я увидел, что они поняли мое решение. Старик раздумывал, посасывая трубку. Не торопя его, я спросил геолога:

– Как вы думаете, Анатолий Александрович?

– Ну, ясное дело, слазаем, посмотрим, – одобрительно отозвался он.

– А ты, Алексей, как? Продуктов хватит на десять дней?

– В обрез хватит: мешок лепешек есть, чай есть да пять банок бобов...

После раздумья старик согласился сопровождать нас. Теперь очередь была за Габышевым.

– Как, Василий, пойдешь? – спросил я. – Груз оставим, нарты грузовые оставим, оленей погоним с собой.

Проводник невозмутимо мусолил трубку, склонив голову и глядя в землю. От согласия его, как владельца оленей, зависело многое.

– Пойдем, начальник, – спокойно ответил якут и так же невозмутимо добавил: – Оннако, мы пропадем, я думай...

Я крепко пожал руку этому славному якуту, считавшему наше предприятие опасным и тем не менее спокойно шедшему навстречу этой опасности.

До вечера шло обсуждение предстоящего пути. На ночь в палатке прибавился пятый жилец. А утром мы быстро съехали в долину Тарыннах, расставили запасную палатку и сложили в нее коллекции, ненужный груз, лишние нарты. Затем повернулись спиной к желанной Чаре и направились к страшным гольцам в верховья Тарыннаха.

По широкой долине реки струился белый туман от многочисленных наледей. «Тарын» и значит по-якутски «наледь». Иногда воды были немного под снегом, а иногда нарты, как лодки, разрезали серую неподвижную воду или проваливались в подледные пустоты. Местами мы с гиканьем мчались, гоня оленей во весь опор по тонкому, прогибающемуся льду. Торопясь, мы проехали за день большой кусок пути и уперлись в отвесную стену, перегородившую долину, – знаменитый уступ в добрые четверть километра высоты. Направо ложе реки врезало в кромку порога узенький пропил. Через него, изгибаясь, спадал вниз огромный ребристый ледяной столб, по которому кое-где сочилась вода и вился едва заметный пар. Левее голые желтые скалы образовали неприступную стену, обрушившуюся в одном месте. Здесь только и можно было начать подъем.

Наутро три пары самых сильных быков волокли облегченные нарты. Каждую пару тащил наверх один из нас, а другой поднимал и подталкивал нарты. Запасные олени шли следом, несмотря на страх, внушаемый им крутизной подъема. Медленно-медленно поднимались мы наверх по этой стене, при виде которой даже бывалый человек отказался бы от мысли втащить на нее нарты. Уже у самого верха обрыва, где подъем стал особенно крут, геолог поскользнулся и скатился вниз на оленей. Большой черный бык подхватил его на

свои рога и в диком страхе двумя сильными рывками добрался до бровки обрыва. Там, на просторной площадке, мы повалились все без исключения – олени и люди, едва живые от изнеможения.

– Вот порог так порог! – воскликнул Алексей. – Страх берет вниз посмотреть... А если бы кто туда сорвался?

– От нарты один спичка останется, а от тебя один печенка вниз прилетит, – невозмутимо ответил проводник.

Оставалось пересечь речку и правым бортом долины ехать дальше. Чего бы, казалось, проще, но и тут внезапно возникшая опасность показала, что каждую секунду нам нужно быть начеку. На льду речки свежая наледь образовала гладкий и плоский бугор, чуть припорошенный сухим снегом. Едва мы въехали на бугор, олени заскользили. Спрыгнувшие с нарт люди сами скользили и падали и не были в силах удержать упряжки. Я сообразил, что все мы неуклонно сползаем к краю ледяного обрыва, с которого спадает на трехсотметровую глубину замерзший водопад... Раздался высокий, звенящий голос проводника:

– Держись, смерть близко ходи!

В страхе за судьбу товарищей я метнулся вперед, уцепился за задок наиболее далеко сползших нарт, поскользнулся снова и упал. Десятью килограммов моего живого веса, обрушившись на молодой лед, пробили в нем большую дыру, и таким образом я получил наконец твердую опору. Невзирая на воду, пропитавшую ватные брюки, я держал проклятые нарты, пока спутники не справились с оленями и не завернули их круто назад от пропасти. Выбравшись на правый борт распадка, в устойчивый снег, мы погнали оленей подальше от опасного места.

Ночевали мы уже на Ичончоките. С утра светлые легкие облака затянули все небо сплошным покровом. Невидимое солнце излучало сильный свет, дробившийся в облаках и отраженный снегом. Этот свет сглаживал все неровности, искажал перспективу и менял очертания предметов, крайне затрудняя передвижение. Кильчегасов с проводником только морщились, сплевывали и бранились, видя в этом неверном свете одну из особенностей чертова места.

Наконец спуск с перевала закончился. Котловина, в которую мы спустились, была невелика. Со всех сторон ее окружали гольцы, вершины которых терялись в молочно-белом покрывале, затянувшем небо. Прямо перед нами возвышались почти отвесные стены горного хребта, закрывавшего нашу цель – то самое место, о котором рассказывал Кильчегасов.

Когда мы поставили палатку и запасли дрова, наши якуты занялись непонятным делом. Срубив высокие шесты, они прицепили к ним какие-то тряпки, заостренные дощечки и расставили вокруг лагеря, укрепив в мерзлой земле с помощью камней и льдин. Как я узнал, это была защита от черта. Он и в самом деле не замедлил вскоре появиться. Едва в котловине начали сгущаться сумерки, как раздался жуткий визг, скрежет и хохот, сменившиеся утробным воплем. Эти звуки, подхваченные и умноженные необыкновенно сильным эхом, произвели на меня такое впечатление, что я испугался, кажется, больше якутов, ожидавших появления черта. Геолог выскочил из палатки с ружьем, но ничего не увидел в угасавшем неверном свете.

– Вот они! – вдруг завопил Алексей, тоже вышедший наружу, и показал на какие-то пятна, двигавшиеся над низкими ветвями скорченных берез и почти совершенно сливавшиеся с синевато-серым мерцанием воздуха.

Геолог вскинул ружье, длинная вспышка вылетела из ствола, и затем раздался такой потрясающий гром, что мы все остоленели. Гром усилился; стихая затем, он уходил все дальше и разнесся по горам, как весть о дерзновенном вторжении человека. Что-то упало поодаль на снег и стало биться. Геолог бросился туда и принес громадную сову. Она скорее походила на филина, только с иным, молочно-белым цветом оперения, с черными пятнами

и полосами на крыльях, спине и верхней части головы. Алексей с торжеством понес сову проводникам, не покидавшим палатки: вот, мол, ваши черти, смотрите! Но он, кажется, мало убедил якутов, объявивших, что здесь черта еще будет много.

Мы забрались в палатку и начали обсуждать план завтрашнего похода на голец с мамонтовыми бивнями. По недоступной летом долине речки Киветы мы, по уверениям Кильчегасова, должны были, пройдя пятнадцать километров, выйти в «чистое место» и оттуда подняться на плато с бивнями. Проводник не решался идти с нами: больные ноги не давали Кильчегасову этой возможности. Алексея мы решили оставить с якутами. Все складывалось так, что в пешеходный маршрут могли идти я и геолог.

Только что мы приготовились заснуть, как вокруг снова все загремело. Глухие удары, зловещее рокотание закончились адским, долго не стихающим грохотом. Я посмотрел на геолога, думая о лавине. Геолог спокойно сказал:

– Это скала рухнула, Георгий Петрович. Здесь необыкновенно крутые склоны вследствие больших молодых сбросов, так что, наверно, часто сыплется... А вдобавок еще необыкновенное эхо. В нем-то и заключается весь черт.

Мы рассмеялись и быстро нырнули в спальные мешки.

Ночью ослабевший за два последних дня мороз стал усиливаться. Поднялся весьма неприятный хиуз.⁵ Ветер дул как раз в мою стенку палатки, пробираясь в спальный мешок и замораживая обращенный к стенке бок. Я проснулся от холода, но долго еще лежал, борясь с дремотой и ленью вылезать и затапливать печку. Наконец я все-таки выскочил из спального мешка и, трясаясь от холода, зажег заготовленную растопку, а сам скорчился у печки в ожидании живительного тепла. Дрова, потрескивая, медленно разгорались. Я сидел, думая о завтрашнем походе, и вдруг отчетливо услышал тяжелые шаги – грузный топот громадного животного. Шаги приближались к палатке, затем обошли палатку кругом. Алексей, спавший крайне чутко, проснулся и разбудил геолога. Топот возобновился, близкий и грозный. Я схватил свой винчестер, который, против обыкновения, взял в палатку, чтобы отогреть, а в случае чего и испробовать на черте действие свинцовой пули 351-го калибра. Геолог и я быстро выбежали из палатки, для чего нам пришлось перепрыгнуть через проводников, завернувшихся с головами в одеяло и упорно не желавших вставать. Небо расчистилось. Ущербная луна недобро кривилась над зубцами вершин. На ровном снегу не было видно никаких следов, сколько ни напрягали мы зрение. Мороз пробирал, и мы вскоре вернулись в палатку. При моем появлении Габышев приподнялся, сел и тревожно спросил:

– Ну, чего видел?

– Ничего.

– Так... И завтра след никакой не найдешь.

– А что это было, по-твоему?

– Здешний хозяин ходи.

– Какой хозяин?

– Чего тебе не понимай? – рассердился якут. – Хозяин, я говорил!..

Я пожал плечами и больше не стал расспрашивать его, хотя так и не мог понять, что за «хозяин» бродил вокруг палатки.

Предраассветная мгла еще наполняла котловину, когда я и геолог стали собираться в путь при свете свечи. Ружья решено было оставить – путь был не близкий, и нужно было идти совсем налегке, чтобы иметь возможность принести собранные образцы. Револьвер и медвежий нож заменили нам винтовку и топор. И все же наше снаряжение с анероидом, фотоаппаратом, съемочной планшеткой и припасами получилось ощутительно весомым.

⁵ Хиуз – поземка, устойчивый холодный ветер.

Пока мы собирались и закусывали, рассвело. Проводник обошел с Кильчегасовым вокруг палатки и заявил, что ничьих следов, кроме следов наших оленей, нет...

Мы двинулись в путь и быстро пересекли котловину. Синий снег звонко скрипел под унтами.

– Опять под шестьдесят! – недовольно сказал геолог, натягивая на рот край шарфа.

Через полчаса мы достигли начала ущелья Киветы и углубились в него. Там еще было темно, и мы прошли несколько километров в пепельно-сером сумраке, прежде чем солнечные лучи достаточно осветили ущелье. Вид ущелья был необычаен. Мы невольно говорили вполголоса, как будто боялись оскорбить какого-нибудь здешнего «хозяина». Ущелье имело в среднем не более четырех метров в ширину. Гладкие угольно-черные стены вздымались кверху или сходились совсем, образуя арки и тоннели, в которых царил густой мрак. Огромные бревна, ободранные, измочаленные, были крепко забиты поперек ущелья на высоте четырех-пяти метров над нашими головами, показывая уровень весенней воды. В стенах ущелья вода высверлила глубокие ниши и ямы – мельничные котлы; в них лежали круглые валуны диаметром с автомобильное колесо.

Замерзшее русло реки спадало уступами. Наледи текли во всю ширину ущелья, так что скоро торбаса наши промокли и обратились в комья льда, по которым мы время от времени с ожесточением колотили палками. Обледеневшие торбаса отчаянно скользили по ледяным уступам, а эти уступы становились всё круче. В другое время, не зимой, речка представляла собой ревущий водопад, и никакие силы не помогли бы нам пройти здесь летом, весной или осенью. Тишина и теснота ущелья, черный цвет его стен – все это действовало несколько угнетающе. Мы прошли уже около девяти километров вверх по ущелью, когда оно повернуло к югу и в какой-то просвет между нависшими сверху склонами проникли солнечные лучи. Здесь обрывистая стена обвалилась, и слагавшие ущелье породы выступали в свежем разломе. Это оказались слюдистые сланцы, из золотистой мелкой слюды. Словно куски серебряного и золотого шелка, горели они в лучах солнца на стенах ущелья, совершенно его преобразив. Золотые и серебряные глыбы лежали повсюду на прозрачном изумрудном льду. Еще четыре километра по ледяным уступам – и мы вышли на маленькую круглую поляну, поросшую кедрами и заваленную большими камнями. Слева, теперь ясно видимый в чистом небе, возвышался голец Подлунный как чудовищная каменная башня, заслоняя от нас весь северо-восток. Впереди виднелся прямой, словно обрезанный ножом, крутой уступ. Час быстрого хода – и мы, обливаясь потом в тяжелой одежде, взобрались на этот стометровой высоты обрыв, но не увидели ничего, кроме гранитного вала, загораживавшего нам дальнейший путь. Вал был невысок, и мы легко одолели и эту последнюю преграду. С гребня вала раскинулась перед нами цель тяжелого пути – небольшое плато с выпуклой поверхностью, окруженное редкими конусовидными сопками. Выпуклая поверхность плато была почти лишена снежного покрова. Поодаль, за кустами кедрового сланца, виднелось несколько острых глыб светлого гнейса, расположенных удивительно правильно – в виде буквы «П».

Продравшись сквозь заросли кедрового сланца, мы нашли на большой поляне несколько слоновых бивней – не мамонтовых, закругленных в полукольцо, а громадных, слабо изогнутых бивней, похожих на бивни самого большого африканского слона. Я насчитал четырнадцать штук. Самые большие были до трех метров длины. Слоновая кость почернела и с задних концов рассыпалась на мелкие кусочки. Зубов и других костей не было. С холма мы увидели в центре плато еще одну большую кучу слоновых бивней, которые лежали, наваленные, как дрова, занимая большую площадь. С радостными восклицаниями мы побежали вперед, обгоняя друг друга. Тут было несколько сотен бивней. Между ними кое-где торчали громадные кости, которые мгновенно рассыпались, едва мы притрагивались к ним.

Недалеко от вершины холма между острыми камнями виднелась глубокая промоина: не та ли «дырка в гольце», про которую упоминал Кильчегасов? В левом борту промоины мы разыскали широкий заваленный вход и поползли внутрь. Сначала пришлось карабкаться под низкими оледенелыми сводами куда-то наверх, затем мы быстро скатились вниз и очутились в кромешной тьме. На счастье, в рюкзаке геолога оказался кусок свечи, которой суждено было в дальнейшем оказать нам еще одну важную услугу. Пещера была велика, с несколькими высокими ходами. На полу из наледи торчали кости животных. Мы углубились в наиболее высокий ход и в ту же минуту испустили дружный крик удивления. На гладких, отвесных стенах пещеры при свете свечи виднелись грубые, громадные изображения животных, сделанные или резкими штрихами, или превосходно сохранившимися красками – черной и красной. Эти рисунки были сделаны очень точно и верно и с удивительной выразительностью. В колеблющемся свете свечи они казались живыми.

Вне себя от удивления, я смотрел, как на черных стенах развевалась жизнь Африки. Вот огромные слоны с растопыренными, как крылья летучей мыши, ушами, антилопы, львы. Вот головы двурогих африканских носорогов...

– Черт возьми, носороги и слоны-то ведь африканские! – вскричал я.

Мы находили всё новые рисунки. Вот пятнистая гиена с покатою спиной, жирафы, полосатые зебры. Африка в сердце скованных стужей сибирских гор! В пещере было сравнительно тепло. Я забыл про мокрые, обледеневшие торбаса; мне было жарко, словно меня коснулся знойный пламень африканского неба.

Пройдя дальше, мы обнаружили две ниши, заполненные бивнями слонов. Тут были собраны особенно большие, до четырех метров в длину. Сложенные штабелем, как дрова, они поблескивали под огнем свечи своей гладкой черно-желтой поверхностью.

Я увлекся и побежал было в другое большое разветвление пещеры, но меня остановил геолог, напомнив, что уже три часа. До темноты осталось не более полутора часов; нам нужно было торопиться. Ночевать в этом безлесном месте, на шестидесятиградусном морозе, в мокрой одежде было слишком опасно. Все же мы еще с полчаса торопливо продолжали поиски хоть каких-нибудь остатков тех, кто здесь жил и рисовал африканских животных. Нам хотелось как можно больше узнать о таинственных обитателях пещеры, но ничего, кроме двух каменных наконечников копий и еще какого-то неизвестного мне костяного инструмента, мы не нашли.



Солнце уже спустилось низко за горы, когда, навьюченные образцами зубов и бивней, мы поднялись на гребень гранитного вала и в последний раз окинули взглядом необычайное место. Быстрый поток мыслей пронесся в моем мозгу. Я вспомнил о великих переселениях африканских животных в Азию, о том, что перед оледенением в Забайкалье и части Монголии была жаркая степь, где жили страусы, антилопы и жирафы. Теперь я понял, что нашел крайний северо-восточный форпост Африки – место, куда до оледенения докатилась волна переселений.

Случилось действительно необычайное: тоскуя по Африке в морозных ущельях Сибири, я открыл в них кусочек земли, в древности бывшей Африкой и сохранившейся нетронутой с того времени. Кто же были эти таинственные древние люди, рисовавшие животных? Если они жили до оледенения, то, значит, они принадлежали к очень древней расе. В то же время эта раса была уже сравнительно высокоразвитой, если судить по рисункам на стенах пещеры. Таких рисунков в Сибири и вообще в СССР пока никто не находил. В правильном расположении каменных глыб я обнаружил большое сходство с загадочными сооружениями из огромных камней, нередко встречавшимися в Центральной и Восточной Африке. Да, скорее всего, эти люди пришли сюда из Африки следом за потоком переселявшихся животных – древние племена художников и мужественных охотников на гигантских слонов.

Ошеломленный находкой, я, по обыкновению каждого исследователя, быстро соображал, пытаюсь сразу же найти наиболее правдоподобное объяснение. И только постепенно я начал сознавать все значение нашего открытия. Теперь может быть решен старый спор ученых об одном или нескольких оледенениях, решен в пользу одного оледенения. Совсем по-новому придется пересмотреть прежние взгляды геологов на историю этой области Сибири в четвертичный период и представления зоологов о распространении животных и происхождении современной наземной фауны. И, наконец, самое интересное – люди, самые древние обитатели Центральной Сибири, неожиданно оказавшиеся современниками и, возможно, родственниками тех, которые до сих пор были найдены только на западе и юге. Да, ученым придется теперь всячески обдумывать открытие, добытое в результате труда и упорства кучки людей здесь, в оледенелых горах, под жестоким морозом...

Молча мы спустились вниз и пошли к речке, к началу ущелья, где мы оставили собранные в нем образцы пород. Геолог спросил меня, что я думаю о нашей находке. Я рассказал ему о своих размышлениях, и он согласился с моими догадками.

– Да, я тоже думаю, что эти куски и рисунки древнее здешних поднятий и оледенений, – сказал он. – Пещера промыта в известняках какими-то водами, а где теперь на высоте вы найдете столько воды? Когда вся эта огромная область подверглась поднятиям и оледенению, что было около пятидесяти тысяч лет назад, земная кора была здесь расколота на отдельные участки. Одни поднимались кверху и образовывали горные хребты, другие спускались, образуя котловины. А этот голец, который мы открыли, – словом, небольшой участок древней почвы, – был поднят на меньшую высоту, чем другие, и не претерпел оледенения и размыва. В то же время он не был опущен настолько, чтобы его завалило моренами и речными галечниками. Потому-то все на поверхности его сохранилось нетронутым... ну, конечно, не считая атмосферных влияний...

На этом наши ученые рассуждения оборвались. Наступившая ночь заставила нас все внимание сосредоточить на дороге. У входа в ущелье мы подобрали оставленные камни и вступили в полную темноту. За свою многолетнюю скитальческую жизнь я, кажется, не попадал в худшие переделки, чем этот ночной поход в ущелье Киветы. Мы то и дело проваливались в воду наледей. Все больше льда нарастало на наших торбасах. С тяжелым грузом за спиной было трудно двигаться по гладкому льду, а на уступах замерзших водопадов мы падали и катились вниз. Скоро и одежда наша обледенела. Все тело было избито. Не знаю,

сколько километров мы прошли таким образом, но в конце концов мы остановились, не в силах продолжать этот путь. И в то же время мы знали: нужно идти дальше – долгий отдых без костра грозил гибелью. Разжечь костер не было возможности – кругом только скалы и лед. Вдруг я вспомнил о свече. Какое счастье, что я не бросил огарка после осмотра пещеры! В неподвижном воздухе свеча могла гореть, как в комнате. С трудом разожгли мы замерзший фитиль и двинулись дальше, поочередно неся свечу в высоко поднятой руке. Теперь ледяные каскады Киветы стали менее страшны – можно было осторожно скользить и скачиваться по ним. Остатка толстой «железнодорожной» свечи хватило почти на час. Когда снова нас окутал мрак, до конца ущелья осталось уже немного. Поздняя луна повисла над гольцами, освещая правую стену черного коридора высоко над нашими головами. Прошло немало времени, прежде чем черные стены разошлись и выпустили нас на свободу, в серебристое снежное поле. Теперь до палатки осталось не более четырех километров. Но леса не было, а следовательно, и тут сделать остановку было нельзя. Я прошел не более полукилометра по котловине и вдруг почувствовал, что перенапряженное сердце сдает. Трудный путь: почти сутки на морозе в шестьдесят градусов, в мокрой, тяжелой одежде, с грузом за плечами, нечеловеческое напряжение при спуске по ущелью, и при всем этом – невозможность дышать глубоко, так как легкие не принимали ледяного воздуха...

Нужно ли удивляться, что даже два таких закаленных человека, как я и геолог, стали быстро сдавать в конце пути? Мое предложение бросить здесь рюкзаки с образцами и все другое снаряжение геолог выполнил, не теряя ни секунды.

Мы едва плелись по гулко хрустевшему снегу, подбадривая друг друга. Силы убывали с каждым шагом. Еще полкилометра, километр – и геолог зашатался, упал на четвереньки в снег и сел, тяжело дыша. Борясь со слабостью, я подошел к нему и стал уговаривать подняться, продолжать путь. Он ответил, что сейчас ему все безразлично, идти дальше он не может. И все же я заставил геолога подняться и пойти. Но через несколько сотен метров ощутил, что и сам не могу двигаться. Огромным усилием воли я заставил себя отсчитать двести шагов, потом еще сто, потом пятьдесят и затем, подобно геологу, рухнул в снег. Блаженный покой охватил меня. Спать, спать – больше ничего!.. Слабо шевельнулась мысль, что заснуть – значит умереть... И я рассердился, услышав очень громкий топот. Это возвращался геолог, возвращалась жизнь, возвращалась невыносимая необходимость вставать и идти. Не помню, сколько еще времени мы шли бок о бок, боясь отойти друг от друга, боясь подумать об отдыхе...

Я наступил на тонкую ветку или сучок, скрытый под снегом. Необычайная громкость звука переломленного сучка дошла даже до моего угасающего сознания. Я вспомнил сразу все: и чудовищный гром обвала, и гулкий топот вчерашнего ночного гостя, и громкие шаги геолога... Остановился, содрал твердую, как кора, рукавицу и вытащил револьвер. Обыкновенный браунинг загремел, как пушка. Звук раскатывающейся волной пронесся по долине. Еще и еще я повторял свой гремящий призыв, пока не услышал усиленные эхом крики. Я сунул пистолет в карман и, едва разжав сведенные пальцы, опустил на колени рядом с геологом.

Мы задремали, но были разбужены приближающимся топотом: к нам спешили оба якута и Алексей. Услышав мои выстрелы, они сразу догадались, в чем дело. За пазухой Алексей принес флягу с горячим чаем и бутылку водки. Нас под руки довели до палатки, и мы, не раздеваясь, погрузились в крепкий сон. Алексей вскоре разбудил нас, чтобы покормить и уложить как следует. А наутро мы уже совсем пришли в себя. Припасы были на исходе, и, к радости якутов, мы решили спешно покинуть котловину, даже не разобрав образцов, принесенных на рассвете якутами. Нам хотелось встретить Новый год в менее унылом месте.

Габышев подошел ко мне, смущенно усмехаясь, подождал, пока я кончу обвязывать нарты, и тихо сказал:

– Я понимал, какой ночью хозяин ходи, Кильчегасов тоже. Это звук такой сильный здесь, это олень наш ходи...

Проводник весело рассмеялся и, подмигнув мне, направился к своим нартам.

Обратно по знакомой, проторенной дороге мы подвигались гораздо быстрее.

Второй день нового 1936 года застал нас совсем близко от долины Чары. Олени легко бежали по проложенному Кильчегасовым следу. Алексей пел заунывную песню о том, как «идет бодайбинец-старатель по Витиму в ужасный мороз». Нарты ныряли и качались подомной, солнце весело блестело на белой ленте замерзшей реки...

Путями старых горняков

Это рассказал горный инженер Канин. Он сидел, откинувшись на спинку кресла, и говорил как бы сам с собой, ни к кому не обращаясь:

– Мне хочется рассказать одну простую историю из жизни подлинно горных людей, в свое время сильно захватившую меня.

Двадцать лет назад, в 1929 году, я изучал старые медные рудники недалеко от Оренбурга, ныне Чкалова. Здесь на протяжении едва ли не тысячелетий велась разработка медных руд, и рудники образовали на обширном пространстве запутаннейший лабиринт пустот, пробитых человеческими руками в глубине земли. Рудники эти давно закрылись, и ничего не осталось от их надземных построек. На степных просторах, на склонах и вершинах низких холмов выделяются красивыми голубовато-зелеными пятнами группы отвалов – больших куч бракованной руды, окаймляющих широкие воронки, – а кое-где видны провалы старых, засыпанных шахт. Местами отвалы и воронки сплошь покрывают обширные поля в несколько квадратных километров. Такая земля, по выражению местных хлеборобов, «порченная», запахивать ее нельзя; поэтому изрытые участки поросли ковылем или полынью, воронки шахт – кустарником вишни. Даже в разгар лета, когда все кругом уже выгорело и степь лежит бурая в белесой дымке палящего зноя, холмы с остатками старых горных работ покрыты цветами, которые вместе с зелено-голубыми выпуклостями рудных отвалов, темной листвой вишни и золотистыми колышущимися оторочками ковыля представляют собой причудливое и красивое сочетание неярких тонов. Словно акварели талантливых художников, лежат эти маленькие степные островки на бурой равнине жнивья и паров.

Здесь хорошо отдыхается после однообразного пути по пыльной и знойной дороге. Ветер колышет ковыль и, посвистывая в кустах, наводит на мысль о прошлом, о том, что эти теперь такие безлюдные и заброшенные участки когда-то были самыми оживленными в степи. Раздавались крики мальчишек – погонщиков конного подъема, хлопали крышки шахтных люков, скрипели воротки, грохотали тачки и слышалась болтовня женщин на ручной разборке руды. Все эти люди давно умерли, но глубоко под землей нерушимыми памятниками их труда стоят в молчании и темноте бесчисленные подземные ходы. Мне удалось проникнуть во многие старые выработки. Я уже в течение двух с лишним месяцев лазил по ним – иногда с помощником, чаще один (помощник боялся опасных мест) – для подземной съемки, поисков оставленных запасов руды и взятия пробы. В этих местах породы сухи, удивительно устойчивы и многие выработки стоят сотнями лет без всякого разрушения.

Все накопленные с XVIII века архивные планы, карты и данные по оренбургским медным рудникам погибли во время Гражданской войны. Поэтому системы старых подземных работ приходилось открывать заново, путешествуя по ним наугад, как по неизвестной стране.



Исследование увлекало меня, и, случалось, я по двое суток не выходил на дневную поверхность, торопясь разобраться в какой-нибудь большой системе выработок. Тьма и тишина лабиринтов штреков,⁶ орт,⁷ извивающихся по всем направлениям, грозно нависшие в высоте над головой дворы засыпанных шахт – во всем этом я находил совершенно особенное очарование. С равномерностью часового механизма падают капли воды в сырых проходах, изредка едва слышно журчит вода, сбегая с верхних горизонтов в нижние.

С фонарем, компасом и записной книжкой я едва пролезал в узкие сбойки,⁸ или неправильные квершлагги⁹ соединяющие одну систему выработок с другой. Иногда проход, занесенный песком от проникновения поверхностных вод, был так низок, что по нему приходилось пробираться ползком, сжавшись в комок. Ползешь – и вдруг неудержимо захочется вздохнуть полной грудью, но как только начнешь набирать воздух, с мгновенным ощущением жути почувствуешь висящие над тобой сотни тысяч тонн горных пород, с невообразимой силой давящие вниз.

А как интересно разгадывать систему взятия рудного гнезда, примененную старыми мастерами, прослеживая и определяя возраст выработок то в правильно нарезанных, выглаженных вручную кайлами работах середины XIX века, то в широких и прямых, но с изуродованными взрывами стенками самых новых! Еще более странны причудливо изгибающиеся по контуру рудного тела низкие ходы выработок XVIII века или совсем узкие, но правильные и гладкие колодцы и наклонные ходы доисторических времен.

Мечущийся свет фонаря вырывает из густой тьмы то ровную стенку, всю истыканную острием кайл, то мрачно стоящий, черный от времени столб случайно уцелевшей старой крепи, то груды обваленных с кровли глыб, то ровно выложенные кладки закатей.

Поражающее впечатление производят огромные черные стволы окаменелых деревьев, иногда даже с сучьями. Гиганты давно исчезнувших лесов, теперь ставшие железом и кремнем, лежат поперек выработок, и часто ход огибает такое дерево сверху или снизу, не в силах пробить его крепкое тело.

О подземных странствованиях того лета можно было бы много еще рассказать, но я лишь кратко очертил их, чтобы дать представление об обстановке всего происшедшего.

Я жил в поселке Горном, находившемся в глубокой долине небольшой речки, меж высоких холмов. В этом же поселке доживал свой век последний из штейгеров старых рудников – Корнил Поленов, девяностолетний, но еще крепкий старик, бывший крепостной владельцев рудников графов Пашковых. Старый штейгер жил в маленьком домишке через дорогу от меня и почти каждый вечер сидел на завалинке у дома, неподвижно глядя на высокий склон с отвалами рудников, поднимавшийся перед ним. Еще в самом начале работы я выпрашивал старика о разных рудниках, которые он знал и помнил великолепно. Однако я видел, что старик мне многое не говорит, отделиваясь ссылкой на старость и слабую память. Я пробовал убеждать его, говоря, что напрасно он не хочет рассказать все, что знает, – рудники должны работать. Чем больше мы сейчас соберем сведений о запасах руд, тем скорее и вернее развернется давно замершая работа.

Штейгер молчал, только в глубине глаз пряталась хитроватая усмешка. Как-то раз он сказал: «Много тут инженеров приезжало, все выпрашивали, записывали, обещали награду, обещали начальником над работами сделать... Наболтали много, а ведь сколько лет прошло, – ездят, смотрят, а работы так и не начинают. И никто из этих приезжих ни в одну шах-

⁶ Штрек – длинная горизонтальная выработка, направленная от шахты по рудному слою.

⁷ Орты – поперечные по отношению к штреку горизонтальные короткие выработки.

⁸ Сбойка – соединение выработок между собой.

⁹ Квершлаг – горизонтальная выработка, в отличие от штрека проведенная по пустой породе.

тенку не спустился – грязно, сыро, ну и опасное, конечно, дело. Знаю я!» И старик умолк, важно расправляя окладистую бороду.

Я понял, что в глубине души Поленов затаил обиду на торопливых и поверхностных геологов, побывавших в районе и вместо подлинного исследования ограничившихся расспросами, вытягивая кое-какие сведения из старика путем безответственных посулов. Я прекратил дальнейшие расспросы, тем более что мои рабочие отзывались о штейгере так: «Старик – что дикаревый камень: упрется – слова не вытянешь».

Я продолжал свою работу, день за днем разыскивая новые доступные выработки, спускаясь на канате в полуобрушенные шахты, и завоевал прочное уважение у местных жителей – потомков старых горняков. Я забыл сказать, что и сам поселок Горный возник при горных конторах Богоявленского и Архангельского заводов, и жители его были известны у окрестного крестьянского населения под именем «рудашей».

Длинными степными вечерами, отдыхая после работы, я часто приходил на завалинку к старому штейгеру и присаживался с ним рядом покурить. Только теперь я не спрашивал его о рудниках. Беседовали мы с Поленовым о прошлых временах, о житье крепостных горных людей, о старинных способах работы. Старик отмякал, оживлялся и много рассказывал мне, удивляя своей наблюдательностью и меткостью выражений. Мои подземные «подвиги», знание истории местного горного дела и старинных горных терминов тронули сердце старого штейгера, и он стал относиться ко мне с гораздо большим вниманием.

Я заметил, что старик ждет моих расспросов о рудниках. Иногда он сам даже заводил речь о тех или иных особенностях руды, упоминая несколько новых для меня названий шахт, но я намеренно ни о чем не спрашивал его. Я знал, что душа старого горняка не выдержит и, видя во мне такого же глубоко преданного своему делу человека, штейгер поделится со мной своими знаниями.

Кончался август. Солнце все еще было теплое и яркое, но в степи начали дуть холодные ветры. Было особенно приятно почувствовать при спуске в поселок горьковатый запах кизячного дыма, стлавшегося голубой завесой из десятков труб. Этот дым означал тепло для озябшего тела, еду, хорошую папиросу в постели – словом, все, что нужно для превращения утомленного работой труженика в кейфующего халифа...

Беседы с Поленовым на завалинке прекратились – дни стали короче, и я часто возвращался в темноте. Лишь иногда, когда погода или работа над накопившимися черновиками заставляли меня оставаться дома, в дверях занимаемого мною помещения вырастала высокая, сутулая фигура Поленова. Поглаживая желтоватую бороду и зорко осматриваясь не по-стариковски быстрыми глазами, штейгер заявлял: «Соскучал по тебе, Васильич, давно не беседовали. Ты все без удержу по шахтам лазишь». – «Садись, Корнилыч, чайку нам Настасья Ивановна даст, а конфет хороших мне с Егорьевского привезли», – говорил я, зная пристрастие старика к сладостям. Покряхтывая, штейгер опускался на лавку, я продолжал вычерчивать какой-либо план или профиль, и начинался неспешный разговор. Нам обоим беседа доставляла удовольствие, и мы засиживались допоздна. Я узнал недавно, что Поленов был последним из целого поколения крепостных штейгеров медных рудников. Знания передавались по наследству от деда к отцу, от отца к сыну. В примитивном горном хозяйстве штейгер был одновременно и маркшейдером, и пробщиком руды, и руководителем бурения – словом, универсальным горным специалистом.

Многолетняя, с детства воспитываемая практика работы под землей выработала у Поленовых особое чутье, про которое старик рассказывал так:

– Теперь пошли эти теодолиты, буссоли... Сорок раз вычисляй да исправляй, пока уверишься, что правильно наметил выработку. Если жилу какую-нибудь нужно проследить, куда она, родимая, ушла, начинают горную геометрию разводить, чертят, вычисляют. А вот мы – мой отец да и я – как работали? Походишь под землей, примеришься и чувствуешь,

куда подкоп вести, особенно если на сбойку со встречной или старой работой. Это чутье горное нас никогда не обманывало. Сам небось видел, какие выработки прокладывали. У меня-то его меньше осталось – с буссолью заставляли работать, – но и то иной раз знаю: врет инструмент; ошибки найти не могу, а знаю – врет. Походишь, породу пощупаешь, куда прожилки направлены, куда зерно укрупняется. Начнешь раздумывать, и такая уверенность придет, что прямо приказываю: бей квершлагом сюда вот! И всегда правильно угадывал, а почему – сам объяснить не могу. А то вот видал Петровеликанскую штольню? Ее английские маркшейдеры проводили, сбивая с Михайловской. И как промахнулись: громадная работа пропала! Вот тебе и инструменты!.. Так же точно и воду чувствую под землей, где к водяному слою ближе, где под песчаником вап¹⁰ лежит. Много чего знаю...

И действительно, старик был по-своему прав, только он забыл, что его горной практике нужно было учиться не один десяток лет. С инструментом же любой человек может за короткий срок овладеть искусством прокладки выработок.

Я верил ему и, слушая его, не раз вспоминал о фрейбергских горных мастерах, основоположниках горного искусства в XV веке. У них точно так же из рода в род, из поколения в поколение передавались горные знания и так же было известно множество примеров как бы ясновидения под землей. Эти мастера развивали в себе особое чувство – чувство подземного пространства и направления, заменявшее им точность маркшейдерских приборов и схемы горной геометрии. Без участия минерографии и химии, по тончайшим оттенкам руд, по неуловимому для обычного наблюдателя изменению породы старые горняки предугадывали выклинивание рудного тела, находили обогащенные участки – словом, прекрасно ориентировались в многообразной, занимающей теперь разных специалистов работе по оценке и разработке месторождения. И я думал о том, что напрасно в истории горного дела забыты простые и верные способы, требующие развития наблюдательности и своеобразной духовной остроты человека. Люди стали меньше верить в чудесные возможности, которые таит в себе человеческая природа, в воспитание подлинного мастера – мастера в прекрасном старинном значении этого слова.

В ближайшее воскресенье я решил приостановить полевые работы и подвести итоги своим исследованиям. Разложив снятые карты, я печально смотрел, как посреди огромного рудного поля Ордынских рудников выделялся лишь маленький, мною исследованный участок. Точно так же изученные площади Левских и Смежных рудников были разделены широким промежутком, оставшимся безвестным. Словом, все эти пробелы портили радость большой и интересной работы минувшего лета. Я не мог связать два больших рудных поля.

Мои размышления были прерваны приходом Поленова. В новом рыжем полушубке, в больших сапогах, старик выглядел торжественно и празднично и казался много моложе своих лет. Я сразу заметил, что он чем-то взволнован. В ответ на мое обычное приглашение садиться старый штейгер сбросил полушубок и, усевшись на табурет, спросил:

– Семен болтал, что ты уезжать собираешься, Васильич?

– Собираюсь, Корнилыч, – ответил я. – Жаль, конечно: полюбились мне и рудники, и место ваше, но пора заканчивать работу, скоро с меня отчет потребуют.

– Рано ты собрался уезжать, Васильич. Хоть и облазил ты много, да самых интересных мест еще не посмотрел.

– Знаю, да пробраться к ним не могу. Работы самые старые, сверху все завалено. Придется обойтись тем, что мог посмотреть.

Старый штейгер молчал, насупившись. Я исподтишка посматривал на него, ожидая, что он скажет. После недолгого молчания Поленов тряхнул головой и с деланным спокойствием сказал:

¹⁰ Вап – старинное название известковой твердой глины.

– Ладно, Васильич, я тебе помогу немного... Еще несколько рудников, как хочешь, а нужно тебе посмотреть...

– Что ж, Корнилыч, спасибо тебе!.. Но почему же ты раньше не помог мне? Все говорил, что не знаешь, забыл.

– Я, Васильич, по человеку вижу, нужно или не нужно ему помочь, – ответил старик. – Вот пригляделся к тебе, и теперь ты как родной мне. Настоящий рудах! И в тебе любовь большая к доброй работе... Ну, что впустошь болтать! Скажи-ка лучше: в Мясниковском старом был?

– Был, Корнилыч, Мясниковский я хорошо знаю.

– Знаешь, да не все. Ты в верхних работах – Ордынская дача по-нашему – ходил, наверху сырта. А вот в самых нижних, по дну лога, в Казенных-то, не был.

По указанию штейгера я проник в самые низкие горизонты древних Старо-Мясниковских рудников и целую неделю изучал огромные камеры между массивами оставленной руды меденосного конгломерата.

Я сделал немало новых открытий, которые, впрочем, имеют интерес только для специалистов. Наконец настал знаменательный день, когда Поленов согласился сопровождать меня в моей попытке проникнуть в огромную подземную систему поля Ордынских рудников, расположенных на высоком степном плато, прямо к югу от поселка Горного.

Штейгер настоял, чтобы я никого не брал с собой и никого не посвящал в тайну похода. По его совету я взял лопату, кайлу, длинную крепкую веревку, два толстых бруска, а также запас свечей и продуктов. Поленов обещал довести меня до шахты, «через которую нужно перепрыгивать», а дальше я должен буду пройти сам и наметить план дальнейшего исследования. Для этого, по его расчетам, мне придется пробыть под землей около двух суток.

В рассветных сумерках, под свистящим в сухой траве ветром мы направились вверх по склону холма, мимо высоких белых отвалов Смежного рудника. Все взятое снаряжение было довольно тяжелым, и я обрадовался, когда старик сказал, что вход недалеко от поселка. Беспредельная, таинственная в сумеречный час степь, озабоченный вид штейгера и наш сделанный украдкой выход создавали несколько приподнятое настроение. Но все оказалось очень простым. Старик в полугоре повернул налево, и, перейдя заросшую густой полынью ложинку, мы оказались вскоре среди множества полусасыпанных шахт, отвалов и обрушенных штолен хорошо знакомого Правого рудника. В жаркие летние дни я много раз бродил по его отвалам, безуспешно пытаюсь найти путь в глубоко лежавшие под поверхностью степи выработки.

Штейгер уверенно направился к высокому отвалу в форме ровного конуса. Перед отвалом оказалась воронка плохо засыпанной шахты, заросшая кустарником. Дойдя до нее, Поленов огляделся кругом, хмурясь и отрывисто бормоча себе что-то под нос. Затем он сделал знак остановиться и начал медленно взбираться на отвал. Он долго стоял на отвале, глядя вниз и для чего-то растопыривая и загибая пальцы своих больших рук. Я смотрел на него и думал о том, какие воспоминания проносятся сейчас в голове старого штейгера.

– Ну вот, Васильич, должно быть здесь, – произнес штейгер, спускаясь с отвала.

Он встал на колени, раздвинул руками кусты. За кустами оказалось отверстие небольшой заваленной штольни, в которое мог бы пролезть разве только ребенок.

– Если в глубине работа не села, пролезем скоро! – сказал Поленов.

Я, не отвечая, сбросил с плеч свой мешок и взялся за лопату. Рыхлая земля, засыпавшая вход, поддалась легко, и через полчаса я расширил отверстие настолько, что ползком можно было свободно пробраться в него. Приготовив свечу и спички, я растянулся на мягкой сырой земле, нагроможденной у входа, и привычным движением вниз головой скользнул в узкий, трубообразный проход. Несколько метров я полз вниз по склону земли, осыпавшейся в выработку, затем проход сразу расширился. Верхняя его часть была свободна.

Дальше можно было уже ползти на коленях. Я остановился и зажег свечу. Сверху приглушенно донесся голос старого штейгера, спрашивающего, как дела.

– Отлично, Корнилыч! – крикнул я. – Полезай да и мешок не забудь!

Вскоре я услышал шуршание мешка, скатывающегося вниз, и старческое побряхтывание Поленова. Из мешка мы достали фонарь; лопату оставили у начала расширения и вскоре миновали «хвост» земли, намытой сверху в выработку. Можно было идти, почти выпрямившись. В штольне было сухо. Свет фонаря бросал желтоватый отблеск на стены, уходившие далеко в черную тьму. Старик медленно шел впереди. Мне это было на руку, так как я успевал на ходу справляться с компасом и записывать направление и расстояние. Штольня была длинна и низка. Спина начала болеть от согнутого положения, когда мы подошли к рудничному двору шахты.

– Ничего не попишешь! – буркнул Поленов. – Начисто засыпали. Придется в юберзихбрехен¹¹ прокапываться, нечистый его дух!..

Я понял, что старик хочет пробраться через ход, соединяющий большую шахту с соседней, и, не мешкая, приступил к делу. К счастью, в углу потолка рудничного двора земля не насыпалась вплотную к стенке, и мы без особого труда проползли через узкую щель в другой ход. Этот ход привел нас к маленькой шахте, которая не была засыпана полностью. На небольшой глубине от устья шахты было сделано деревянное перекрытие, сверху потом заваленное. Вверх и вниз в черную тьму уходил квадратный колодец около двух метров в поперечнике. К этому времени мы сильно углубились в склон плато, и нависшая над нами толща горных пород была уже большой.

– Теперь куда, Корнилыч? – окликнул я штейгера, склонившегося над шахтой.

Не отвечая, он бросил вниз камень, и вскоре до нас донесся отчетливый всплеск: внизу была вода. Разочарованно я посмотрел на штейгера, но лицо Поленова было спокойно.

– Ну, Васильич, теперь самое трудное начинается – спускаться надо.

– Куда же, в воду?

– Эх, а еще горняк! Или боишься? – поддразнил старик. – Помнишь, я тебе говорил: будет шахта, через которую придется прыгать, – эта самая и есть. Двадцать четыре аршина ниже будет большой штрек среднего горизонта, нам на него выйти надо. Спервоначалу я думал спускаться большой шахтой – тогда надо было через эту перепрыгнуть. Ну, а теперь ты спустишься вниз, раскачаешься и заскочишь в рудничный двор второго горизонта. Веревку петелькой за пояс прикрепи, чтобы не утерять. Да тебя уж учить не надо, практику хорошую прошел. Понял мой план?

– Все понял, Корнилыч. Двадцать четыре аршина – пустяки!

Я достал принесенную веревку, на захваченный с собою крепкий брусок навязал петлю и продел в нее сложенную вдвойне веревку для спуска известным альпинистам способом, называемым дюльфером.

Пока я готовился к спуску, Поленов присел на мешок около шахты и наставлял меня на дальнейший путь. Основной моей задачей было проникнуть в грандиозные выработки глубочайших шахт района – Щербаковский рудник.

– Дай-ка бумаги, я чертеж тебе сделаю, – сказал старик.

Сдвинув головы к фонарю, мы, как два заговорщика, вполголоса совещались на краю черного отверстия старой шахты. Глубочайшая темнота и тишина окутывали нас. Мы уже настолько привыкли к ним, что, когда где-то в конце пройденной нами сбойки возник негромкий звук, он показался оглушительным. Я повернулся, едва не опрокинув фонарь; штейгер приподнялся, упершись руками в песок. Вытянув шею, вглядывался он в беспросветную черноту, заполнявшую другой конец хода. Звук напоминал шуршание большого

¹¹ Юберзихбрехен – горизонтальная выработка, соединяющая стволы двух соседних шахт.

куска сминаемой бумаги. Усиливаясь, он перешел в заглушенный гул и закончился тупым ударом. Через несколько секунд волна воздуха зашипела по ходу и донеслась до нас, погасив фонарь и свечу. После этого все стихло и снова беззвучная тьма воцарилась в подземелье. Догадываясь уже, что произошло, я торопливо нащупывал в кармане спички.

– Ну как, Корнилыч? – спросил я штейгера, и голос мой прозвучал хрипло, неуверенно.

Я зажег свечу. Лицо старика было строго, но спокойно. Только сдвинутые брови и сжатые губы говорили о надвинувшейся на нас опасности.

– Эти заваленные шахты всегда... – Он не договорил, быстро поднялся и взял свечу. – Пойдем, Васильич, поглядим... Только потихоньку.

Мы углубились обратно, в недавно пройденный ход, и очень скоро шаги наши заглохли в мягком песке, толстым слоем устлавшем пол выработки. Я посмотрел на Поленова, он кивнул головой. Слой песка все утолщался, в нем показались крупные глыбы породы. Мы сгибались всё ниже и ниже, продвигаясь вперед, и наконец уперлись в насыпь из песка и камней, закрывшую наглухо отверстие штрека.

Дело было совершенно ясным: осела какая-то пустота в большой заваленной шахте. Сотни тонн земли, обрушившись сверху, отрезали нам путь назад... Мы находились в одном краю огромной, площадью во много километров, системы подземных ходов, уходивших в глубь степного плато. Чем дальше, тем шахты становились всё глубже, и все были завалены. Да если бы некоторые из шахт и были открыты, разве можно было бы подняться через них из стометровой глубины? Чувство смертельной опасности, охватившее в тот момент, когда я услышал шорох обвала, не оставляло меня. Быстро пронесся рой мыслей о жизни, работе, близких, о прекрасном, сияющем, солнечном мире, который я больше никогда не увижу... Я закурил папиросу и жадно затянулся. Табачный дым низко стлался в сыром и холодном воздухе. Овладев собой, я повернулся к Поленову. Он был хмур, спокоен и молча следил за мной взглядом.

– Что будем делать, Корнилыч? – как можно спокойнее спросил я.

– Сильно сверху надавило; пожалуй, вся труба земли села, – сердито хмурясь, сказал Поленов. – Это мы растревожили, когда прокапывались. Видно, давно уж на волоске висело. Делать нечего, не прокопаешься, опять засыпать будет... Ну, пойдем назад, к шахте. Что мы здесь корячимся.

Не говоря ни слова, я пошел за стариком. Его спокойствие удивило меня, хотя я и понимал, что за свой долгий рабочий век он много перевидал и не раз испытывал серьезную опасность.

Не знаю, сколько времени мы молча просидели у края шахты: старик – в глубокой задумчивости, я – нервно покуривая. И я невольно вздрогнул, когда Поленов неожиданно нарушил молчание:

– Ну, Васильич, выходит, мне с тобой лезть надо. Мне-то уж помирать не страшно – годом раньше, годом позже, а тебе неохота, да и нельзя: полезный ты нашему делу человек. Свечей сколь прихватил с собой?

– Три целых пачки, – ответил я.

– Это дело! Такого запаса хватит, но для всякого случая, как спустимся, вторую свечу гаси – путь длинный... А меня сумеешь ли спустить? Я ведь тяжел. – И на суровом лице старика чуть мелькнула улыбка.

– Спущу, Корнилыч, будь спокоен, – откликнулся я. – Однако как же мы выберемся из глубин Рождественского или Щербаковского рудника? Здесь-то, может быть, и разыщут...

– Ну, какой шут нас найдет! – жестко оборвал старик. – Ищи иголку в степи! Не сказались ведь, куда пойдем. А тут дело вот какое: пройдем мы до Старо-Ордынского – это дорога верная; от Горного, почитай, километров шесть будет, но зато по старым сухим выработкам. А дальше был наверх единственный ход через Андреевский Девятый – этим ходом

Андрей Шаврин первый прошел. Он его и обнаружил – рудаши потом по его имени этот отвод называли. Кроме него, меня да еще одного, никто там и не был, а это ведь семьдесят лет тому назад было. Ну, собирайся: спервоначалу меня опустишь, потом сам. Веревку-то выдерни опосля – пригодится...

Через несколько минут Поленов повис в черном колодце шахты. Медленно выпуская веревку из-под ноги, я следил, как фонарь, прицепленный к груди старика, опускался все ниже.

– Стой! – загудел внизу голос старого штейгера. – Нет, еще аршин выпусти!..

Быстро перекрутив веревку через брусok, я увидел, как штейгер уперся ногами в стенку шахты, раза два качнулся и исчез. Едва заметный след мерцал где-то внизу, на противоположной стенке шахты. Потом веревка ослабла, освобожденная от груза. Я спустил вниз мешок, а затем начал спускаться сам, отталкиваясь ногами от стенок шахты, пока не достиг уровня двора среднего горизонта. Далеко внизу, на нижнем горизонте, плескалась вода, в которую сыпались кусочки породы. Подражая штейгеру, я раскачался и прыгнул в освещенное фонарем начало штрека. Штейгер стоял, прислонившись к песчанику, и тяжело дышал. Только что проделанный спуск отнял у него все силы. Я не спеша освободил и смотал веревку, медленно надел заплечный мешок, приготовил компас и наконец закурил, чтобы дать время старику оправиться. Штрек был большого сечения и, не в пример прочим, довольно высок. Мы свободно пошли, не сгибаясь, в далекую дорогу в подземной глубине, отрезав себе всякую возможность возвращения. Я безусловно доверял старику. Сложнейший лабиринт разновременных выработок где-то мог вновь приблизиться к поверхности. При знании всех подробностей расположения древних и новых выработок мы могли спастись. И это знание было у Поленова, последнего из оставшихся в живых мастеров горного дела прошлой эпохи.

Путь был утомителен и долог. Миновав без особых затруднений большие и правильные выработки Александровского рудника, мы долго пробирались ползком в частично обрушенных и низких работах двухсотлетней давности, пока наконец не выбрались в длинный штрек английской концессии. Пройдя этот штрек, мы попали в систему больших камер на месте незначительных гнезд сплошь вынутой руды, где должны были разыскать квершлаг – ход, соединяющий эти выработки с выработками соседнего, Щербаковского, рудника. Щербаковский рудник отстоял от поселка Горного по поверхности около четырех километров, мы же проделали путь под землей много больший, и к этому времени старый штейгер совершенно выбился из сил. Я постелил на сырой пол камеры свою кожаную куртку, и Поленов в угрюмом молчании опустился на нее. Однако после того, как мы поели и я дал старику шоколаду с добрым глотком коньяка, Поленов заметно прибодрился. Я решил не торопить старика, зажег еще одну свечу и с удобством устроился на мешке, покуривая и поглядывая кругом. Потолок камеры едва серел при тусклом свете; неровные, уступчатые стены из плиток голубоватого рудного мергеля были испещрены черными пятнами – обугленными отпечатками древних растений. Здесь было более сыро, чем в выработках, пересекавших песчаники, и неподвижная тишина нарушалась мерным, четким падением водяных капель. Местами черные полосы пропластков, обогащенных медным блеском и углистой «сажей» ископаемых растений, резко прочерчивали породу оставленных столбов. В других выступах стены были испещрены синими и зелеными полосками окисленной части рудного слоя.

Влево от нас неровный, изборозженный трещинами потолок камеры быстро понижался к изогнутой полукругице галерее. В галерее чернели три отверстия: одно из них должно было служить нам дальнейшей дорогой. Стараясь угадать какое, я подумал о среднем и оказался прав.

Я докурил вторую папиросу, когда Поленов сказал, что готов отправиться дальше.

– Отдыхай, Корнилыч, – отвечал я, – торопиться некуда, наверху все равно уже ночь.

– И то, пожалуй... – согласился штейгер. – Полпути сделали, а дальше-то хитрее будет.

– А что это за путь, которым мы пойдем, и кто такой Шаврин, открывший его?

– Ну, что за путь – сам увидишь, а про Шаврина могу рассказать – дружок он мой был...

И старик начал свой рассказ под монотонный аккомпанемент капель.

– Дело-то это незадолго перед концом крепостного права было – в пятьдесят девятом году. В ту пору я парнишкой восемнадцатилетним был, однако же по сметке и по выучке горным десятником работал. Андрюшка Шаврин – постарше меня на два года – тоже в горных десятниках ходил. Работали мы оба на Бурановском отводе, и в Чебеньках – знаешь, где роща березовая сейчас, на спуске к Уранбашу, где Верхотурская горная контора тогда стояла. Против нее, по ту сторону речки, – Воскресенская горная контора. С Андрюшкой мы дружили, да и кто с ним не ладил – отменный парень был! Ну, не больно красив, но силен да статен, а уж умен да ласков – какой-то прямо особенный! Работу горную очень любил. Еще мальчишкой с моим да со своим отцом все по старым работам ходил: по поручению управляющего смотрели, чтобы потом, что хорошее осталось, взять. Хорошо выучился, книг много разных читал и, не в пример другим, любил вечерами после работы сидеть допоздна в степи и думать о чем-то... Все было бы хорошо. Работал Андрей – не нахвалишься, да только гордый был паренек. Ну, а крепостному-то гордость очень вредная, особо когда управляющий, как наш Афанасьев, строжак был. Графы-то Пашковы, к которым мы были приписаны, в горные дела мало вмешивались. Управляющий и орудовал как хотел. А Шаврин еще с соседями из Воскресенской конторы сдружился. Ихний управляющий – Фомой Рикардом звали – все его хвалил и к себе звал работать. Да как уйдешь? Кабы государственный был, еще можно бы сделаться... Андрюшка часто у них пропадал и много чего лишнего понахватался – не по чину получилось. И это еще не беда. Нрав у Андрюшки был тихий, да как до Насти дело дошло, тут все перевернулось. Девка тут была одна, плотника Ферапонтова дочка. Ничего себе, красивая, косы длинные, грудь высокая, как сосенка статная. И певунья на редкость – голос на все конторы славился. Андрюшка и втемяшился в нее, она в Андрюшку. Словом, любовь у них такая пошла – сами не свои ходят, как зачарованные. Как вечер, бежит мой Андрюшка на Покровский рудник к своей Настеньке. Узнал про это управляющий и сильно освирепел. Он эту девку давно заприметил и то ли для себя, то ли для своего сына в любовницы прочил. Позвал он Настю к себе. Жил он тогда в большом белом доме на ферме, у Верхотурской конторы. Этот дом не сохранился – в революцию пожгли. Стоял он в большом саду, у пруда. А Шаврину управляющий приказ послал: немедля собратся и ехать с запряженным же обозом, что с рудой на завод в Уфимскую губернию пойдет: переводит он, значит, Андрюшку на Ивановский рудник, что недавно Пашковы за Демой купили. Андрюшка узнал – и свету невзвидел. Как же ему с Настей-то расстаться? Словом, побежал Андрюшка к Насте и узнал, что Настю управляющий к себе потребовал. А уж смеркаться начало... Андрей-то недаром умен – сообразил, что неспроста и его отсылают. Пустился он во весь дух на ферму. С Покровского-то хорошо бежать – вся дорога под гору. Уже стемнело, когда добежал. Быстро, никто его не заметил, пробрался в сад и затаился в кустах под окнами управляющего.

А управляющий как раз в это время Настю улещал. Да девка уперлась – ни в какую, хоть в Сибирь ссылай, хоть убей. Афанасьев в конце разъярился – не привык он к непокорству. Кликнул двух баб домовых – здоровенные такие бабищи были, – одежду они с Насти сорвали при нем и заперли голую в темный чулан, чтобы одумалась. Ну, Настя – девка сильная и, пока они с ней управились, шуму много наделала, и Андрюшка услышал этот шум, влез на карниз и заглянул в окно. Увидел он, как Настю бабы из комнаты утаскивают, и все в душе у парня перевернулось. Потом уже рассказывал он мне, что не в себе стал, плохо помнит, что было дальше. Высадил раму, в комнату прыгнул – кабинет это был Афанасьева – да прямо к двери, в которую Настю утащили. Афанасьев увидел его – и скорей за ружье, что висело на стенке. Только взять он ружье не успел. Андрей схватил со стола какую-то

тяжелую штуку да как ахнет управителя по зубам! Зубами Афанасьев всегда гордился – они у него были, как у цыгана, крупные, белые. Андрюшка их одним ударом вышиб. Парень здоровый да еще осатанел совсем – ну, ясно, управляющий и покатился, обливаясь кровью. Тут бы его Андрюшка и прикончил, да голос Насти услышал. Управителя бросил и кинулся искать ее. Пока то да се, по дому тревога поднялась. Афанасьев тоже крепкий был мужик, быстро очухался и заорал: «На помощь!» Сбежались тут конторские сторожа и его, Афанасьева, охранители-кучера: звери, а не люди. Навалились скопом на Андрюшку, сбили с ног, скрутили. Афанасьев на Андрея глядит, ко рту платок прижимает и слова сказать не может – рычит только. Наконец прохрипел: «В амбар, завтра рассчитаемся!» Заперли Шаврина в крепкий амбар рядом с кузницей, сторожа выставили. А в доме управителя любушка его сидит – тоже запертая, своей участи дожидается. Вот как счастье-то их в один миг перевернулось, сгнуло!.. Ну ладно... Отдохнули мы, пора и дальше, – неожиданно оборвал рассказ Поленов и, побряхтывая, поднялся с земли.

Идти по широким штрекам в обширных Щербаковских выработках было легко. Но зато воздух здесь был тяжел. Огонек нашего фонаря еле мерцал, не давая даже возможности различить дорогу. Здесь, на наибольшей глубине, естественная вентиляция через системы выработок и продухи не полностью заваленных шахт почти отсутствовала. Дышать было трудно, и я серьезно тревожился за старого штейгера. Вскоре перед нами выросла огромная насыпь крупных глыб и породы, скат которой уходил высоко вверх.

– Наверх, значит, надо лезть по ней, – сказал Поленов. – Только ох как осторожно нужно, Васильич!..

Пробуя, крепко ли лежат куски породы, с глыбы на глыбу, минуя сотни зияющих щелей, поднимались мы метр за метром на горизонт 27-й сажени. Я изо всех сил старался облегчить старику трудный подъем. Поднимались мы очень долго, пока наконец не добрались до желанной цели. Цель эта показалась мне весьма невзрачной. Широкая лавообразная выработка целиком села, от кровли отделились огромные плиты по три-четыре метра толщиной. Между новым потолком и севшими плитами зияла широкая щель, не более полуметра вышины, ведущая в новую неизвестность. Двадцать семь сажен толщины пород по-прежнему отделяли нас от поверхности земли. Но здесь приятно было почувствовать тягу воздуха, вздохнуть как следует. Пламя фонаря вспыхнуло и стало гореть ярче. Долго лежали мы, отдыхая на гладкой плите, похожей на большую льдину. Движение воздуха колебало огонек фонаря и холодило разгоряченное лицо.

– Тянет здорово, Корнилыч, – нарушил я молчание. – Пожалуй, где-то близко выходные выработки.

– Близко-то близко, да не для нас. Это знаешь куда тянет? В большую Покровскую шахту, откуда воду берут в выселке на сырту. Ее второй горизонт примерно с этим сходится, и сбойка была, но нам туда не пробраться – село все, а понизу затоплено. Нет, наша дорога теперь направо, в Верхоторский отвод – Мясниковский Новый по-другому называется. Ну, давай полезли понемногу – отдыхался я...

Щель, несмотря на свой зловещий вид, оказалась сравнительно легко проходимой. Из нее мы попали в узкий ход, а дальше – в большие, правильные выработки и через несколько узких восстающих поднялись метров на двенадцать выше. Потом потянулись низкие, неправильной формы, изогнутые ходы. Они неуклонно заворачивали к юго-востоку, пока не перешли в широкую и высокую галерею.

– Вот тебе и Старо-Ордынский! – обрадованно сказал штейгер. – Эта штольня кольцом вокруг пойдет, а из нее – орты внутрь, как колесные спицы. Посередке большая камера – нам туда и надо... Да вот одна орта, в нее и лезем...

Низкое сводчатое отверстие хода чернело налево у пола галереи. Пришлось снова становиться на четвереньки и, испытывая острую боль в натруженных коленях, продвигаться

по слегка наклонному вверх тесному ходу. Несмотря на всю привычку, я стал уставать от ползания.

Внезапно орта кончилась, и мы вошли в огромный, почти круглый зал. Как я ни поднимал фонарь, мне не удалось разглядеть потолок, и только когда я зажег свечу, увидел его изрытую подсечками поверхность на высоте больше десяти метров. Огромные черные бревна столбовой крепи стояли колоннадой, подпирая своими терявшимися в темноте верхушками боковые уступы, косо сбегавшие с потолка к стенам зала. Пол был ровен и чист. Против устья орты виднелись высокие закати – штабеля оставленной в выработке бедной руды.

– Ну и чудеса! – воскликнул я в восторге, осматриваясь кругом. – Но как крепи уцелели здесь за сто лет, не понимаю!

– Это дело немудреное. Прежде ведь дубами крепили. А уцелели потому, что не давило здесь. Попробуй-ка крепь – смекнешь сразу.

Я подошел к ближайшему черному столбу и тронул его пальцем. Палец вошел, как в масло, в сырую и черную мякоть, но в глубине нащупывалось твердое дерево. Присмотревшись, я заметил, что древесина окрашена местами в густо-синий, местами в зеленый цвета – значит, насквозь пропитана медными солями.

Мы расположились на отдых у штабелей руды. Часы показывали четыре утра: уже двадцать один час находились мы под землей. Усталость брала свое.

– Много ли осталось, Корнилыч? – обратился я к штейгеру, доставая еду.

– Тут уж пустое. Сейчас в Чебеньки выйдем – и в штольню в Ордынском логу, выше ключа, в лесок.

– Ну и далеко же нас завело! Досталось тебе, Корнилыч!

– И то не думал я, что перед смертью еще раз побываю. После Шаврина я был тут с сыном лет пятьдесят назад...

– Вот что: пока будем закусывать да отдыхать, доскажи-ка мне, что дальше с Андреем было, – попросил я.

– Выпивки-то осталось сколь-нибудь? – спросил старик. – Заморился я. А хорош шоколад-то: как поешь, сразу силы прибудет. В наше время мы его не видывали...

Он молчал, закусывая, и, только основательно заправившись, сказал:

– Ну ладно, слушай дальше... Так, значит, Андрюшка валялся в амбаре, скрученный по рукам и ногам, а мы ничего не слыхали... Либо его связали не крепко, либо ярость в парне больно велика была, только ночью удалось Андрею от пут освободиться. И хитер же он был! Поразмялся маленько и влез на толстенную балку наверху, прямо над дверью, да как завопит диким голосом! Сторож перепугался, вызвал подмогу. Решили посмотреть, что стряслось с Андрюшкой: то ли ума решился, то ли помирает парень. Дверь отомкнули, вошли с фонарем в амбар... Андрюшка прыгнул сверху на последнего, что с ружьем у двери стоял, сбил его с ног, подхватился – и в степь. Ну, тут: «Держи, лови!» – бух, бух в темноту... Где там! Сквозь землю провалился. Да и впрямь ведь в землю ушел – выручай, родная! И выручила...

Утром мне на работу выходить. Встал еще до свету. Мать на стол собирает и говорит, что с Андрюшкой неладное случилось. Уж слух прошел: и как управляющий Настю забрал, и как Шаврин ему зубы вышиб, и как сбежал он ночью куда-то. А что с Настей было, никто не знал. У меня от этих новостей даже дух захватило, и пошел я на работу сам не свой. Все думал, что теперь будет и как бы Андрею помочь. Работали мы в Чебеньках, на самом краю отвода. Полез я шестой забой проверять. Иду по штреку задумавшись, вдруг слышу Андрюшки Шаврина голос. А я все о нем думаю, и так это меня пробрало, даже обмер я, остановился. Посмотрел туда, сюда – рядом печь старая. Посветил, гляжу – и впрямь Андрюшка меня рукой подманивает. Огляделся я кругом – никого, фонарь притушил – и в печь. А там, в глубине, разбуравлено было и старый ордынский ход пересекался. Мы

с Андрюшкой туда и прошли. Я к нему с расспросами, как да что. Андрей только головой помотал – некогда, мол: Настю да и себя спасти надо. «Про тебя, говорит, знают, что ты дружок мой, следить будут, так ты долго здесь не задерживайся. Костьке Силаеву (это второй его дружок был) скажи, что я повидать его хочу ночью, чтоб только никто не видел. Принесите в Ордынский лог, к ключу у четырех больших берез, еды побольше – на несколько дней. Там я вас встречу и скажу, что дальше делать надо. И еще: пусть ты или Костя всенепременно перед вечером с Кузнецовой Надеждой повидаются. Пусть она постарается передать Насте: жив Андрей и скоро ее освободит. Старому ироду пускай не поддается и ждет от меня известия...» На том и порешили. Харч, что я с собой взял, отдал Андрюшке, и он исчез в ордынской работе. Я потихоньку выбрался из печи – да к себе в забой. Места не нахожу, все думаю, как с Костей повидаться. На счастье, понадобились мне новые клинья, а наша кузница стояла у Верхне-Ордынского, где Костька работал. Я скорее туда. Ну, повезло: Костьку разыскал, перемигнулся, быстро ему все сказал... Сговорились, что Надежду он повидает. А встретимся мы у большого Волковского вывоза, выходить будем порознь. Отлегло у меня от сердца, вернулся я к себе на шахту. А кругом уж только и разговору, что об Андрюшке и Насте. Приказчики да сторожа в степь поскакали – Андрея ловить, да собаки охотничьи спущены были.

Управляющий занемог – видно, здорово его Андрей стукнул, – в постели лежал. Награду назначил большую, кто Шаврина поймает. Нарочный в Каргалу поскакал, полицию уведомить, а оттудова в Оренбург к полицмейстеру за приказом ловить Андрюшку и в железо ковать.

Я, как домой вернулся, мешок приготовил да потихоньку от матери насовал в него все, что под руку попало из еды. Подождал, когда все заснули. Наудачу, луны-то как раз не было, ночи теплые да темные. Пошел я, на душе беспокойно: за Андрюшку боюсь, не знаю, что дальше будет. Тихо в степи, пусто. Где-то стороной, слышно, верховые проскочили – должно, дружка моего ищут. По узенькой тропинке подошел я к Волковским вывозам. Чуть забелел на горюшке большой вывоз – тут в кустах заворошилось, и Костька как из-под земли появился. И тоже с мешком. Пошли мы потихоньку, как два волка, в темноте непроглядной. Спустились в лог, и не по дороге, а на всякий случай по-за кустами, в полугоре пошли... Костька мне шепотком рассказывает, как был у Нади. Та, говорил, даже в лице изменилась, побледнела, однако же говорит – сделаю. В сумерках прибежала, отдохнуть не может. Настю ни увидеть, ни сказать ей не смогла, держат ее по-прежнему под замком. Из разговоров в доме Надежда узнала, что управляющий сильно занемог, но клянется, как только ему полегчает, непременно самолично сыскать Андрюшку и отомстить за свое уродство сполна...

Пока Костя все это рассказывал, подошли мы к месту. У родника повернули направо; здесь было чистое песчаное место, кругом – кусты чернотала, а выше – гривка небольшая с травой и на ней четыре старые березы. Сели мы под березами. Тихо кругом. Крикнул я сычом. Послушал, еще раз крикнул. И вдруг, откуда ни возьмись, Андрюшка прямо перед нами. Мы даже перепугались от неожиданности. Рассказали мы ему всё. Подумал Андрей и говорит: «Вот что, дружки мои любезные: вы теперь одна у меня надежда. Если вы не поможете – пропал я, а я пропаду – Настя тоже: загубит ее управляющий. Коли хотите помогать, делать это надо, не мешкая. Сперва покажу я вам сейчас место, где меня сам черт, а не то что Афанасьев, не найдет. Вы в это место отнесите тулупчик какой или одеяло, посуду для воды да женское платье... Вот эту цидулю снесите в Воскресенскую контору – Рикарду. В собственные руки отдайте и ответа ждите. Ответ отнесите сюда и положите – покажу, в какое место... Дальше вот еще что: старинный рудничок у самой фермы знаете? Там открытая работа большая, а в ней несколько штолен маленьких, осыпавшихся. Так вот: средняя штольня выведет в подкоп, подкоп пойдет все правее и правее, к ямам от дудок, что уж

в самом Ордынском логу, в кустах. Нужно по этому подкопу пролезть и в одну из дудок ход расчистить наружу. Только землю, чур, внутрь отгребать. Надежде скажите, что я вечером послезавтра буду ее ждать в роще на Заовражном – ей туда добежать пустяк, а вы туда же приходите, как всё обделаете. Только записку мою Рикарду обязательно завтра на свету снесите, а вечером – ответ». Шаврин вдруг замолчал, прислушался. Прислушались и мы с Костей. Внизу, по логу, слышен конский топот. «Ну, други, прятаться надо, это ведь меня ищут», – шепнул Андрюшка. Взял меня за руку, я – Костьку, и пошли мы в кусты, прихватив мешки. За кустами была большая старинная штольня – Ордынской звали. Устье широченное, высокое, верхом въехать можно. А сама штольня короткая, и выхода из нее нет. «Куда ты, Андрюшка? – говорю я Шаврину шепотом. – Ведь они беспрерывно в штольню заглянут – за тем, наверно, и едут...» – «Ладно. Конечно, заглянут... Да ты поспешай, а то мы их поздно заметили, заболтались...» И верно, под землей слышно – конские копыта уж совсем близко топают... В штольне – я знал хорошо – было три хода. Средний – самый длинный, сажень восемь. Андрюшка нас туда и повел. В конце – орта небольшая; туда и сюда печи слепами забоями. Вот мы в левую печь заскочили. Андрюшка и шепчет: «Вверх, выше роста, подсечка узкая, всего два аршина в глубину и меньше аршина в ширину. В конце подсечки – ход вверх, ордынская выработка смыкается. Руки вперед суй, перегнешься туда вверх, ноги подтянешь – и хоть во весь рост вставай». Так и сделали, и в самое время – голоса уже по логу слышны. Тут видишь какое дело: ход-то, он прямо над подсечкой, вверх идет и назад над штольней поворачивает, узко очень, и как ни смотри – снизу ничего не увидишь. Влезли мы все. Андрюшка подвинул два больших куска породы, опустил в подсечку и конец ее вовсе закрыл. И знать будешь, так не пролезешь. Назад от подсечки ход шире шел; сели мы втроем над самым отверстием и слушаем. Верно, в штольню идут, шарят везде, ближе к нашему забою подходят. Вот чуть-чуть засветило между камнями – это кто-то свечу прямо к забою поднес. «Так нигде ходу нет?» – слышу, спрашивает, не узнал по голосу кто. А ему Рыбин, штейгер с Покровского, отвечает: «Посмотри сам. Мы ведь каждую печь знаем, не видишь, что ли?» А мы сидим, притаились, друг друга локтем в бок подталкиваем. Ну, ушли незваные гости; высекли мы огонь, запалили свечу. Андрей нас и повел в свое убежище. Тут, оказывается, большие ордынские работы были. И никто о них ничего не знал. Знаешь, как у ордынцев-то было – ходы узкие, без крепей, трубами, стоят вечно. Труба за трубой спускаются наклонно вниз до большой выработки, где ордынцы богатое гнездо брали. Здесь Андрюшка-то и основался. Показал он нам оттуда путь в Старо-Ордынский рудник – в эту вот большую залу, где мы с тобой сейчас сидим.

Большая ордынская выработка с хорошую горницу величиной была, только пониже малость. Посередине гладкие плиты крепкого песчаника были теми ордынцами положены. На них мы сложили припас из мешков, свечи оставили, огниво; сюда же уговорились записку положить. На том и покончили. Поползли по трубам наверх, добрались до штольни, камни вытащили и вылезли. Андрюшка ход за нами опять закрыл. Послушали – никого. Ну и держали домой без оглядки! Пришли ночью и выспаться еще успели... Ну, а мы с тобой, Васильич, успели отдохнуть. Хватит сказки-то сказывать, давай выбираться...

Штабель у южной стены зала, где мы сидели, постепенно повышался. С него можно было забраться на уступ стены. Выше шла узкая просечка, по которой я, упираясь в стенки спиной и ногами, забрался на второй уступ, почти под самым потолком камеры. Этот уступ, вернее, карниз, был очень узок. Пришлось лечь на бок, лицом к стене, и проползти три-четыре метра налево, к выходу доисторической трубообразной выработки. В ней я наконец твердо закрепился и втащил Поленова на веревке. Развернуться уже было нельзя, и я так полз дальше, ногами вперед. Следом за мной, отдуваясь, полз Поленов. Проклятая выработка упорно поднималась вверх, и казалось, ей не будет конца. Я уже начал было думать, что кости на моих локтях вылезли наружу, но вот ноги потеряли опору, и я лягушкой высо-

чил на ровный пол. Это и была та самая подземная горница, где скрывался семьдесят лет тому назад Шаврин. Гладкие стены, характерные для доисторической выработки бронзового века, имели овальные очертания, потолок поднимался куполом, а пол углублялся в виде чаши. Я увидел гладкие камни посередине камеры, о которых рассказывал штейгер. Осмотрев камеру, я нашел две источенные бронзовые кайлы и несколько медных слитков. Кайлы, один слиток, черепки какой-то посуды и череп, найденный в смежной орте, были впоследствии отосланы мною в Русский музей в Ленинграде. Штейгер шарил с фонарем по полу, бормоча что-то.

– Вот смотри, Васильич, – сказал он и направил свет фонаря за один из больших камней. Я увидел почерневшую, но хорошо сохранившуюся дубовую кадушку. – Бадейка для воды, ее Костька приволок, а вот и нож Андрюшки... – Старик поднял с полу ржавый обломок ножа и бережно сунул его в карман. – Как есть, все так лежит, будто только год назад было... – Даже при скудном свете фонаря видно было, как молодо заблестели глаза старика. – Эх, жизнь рабочая! Прошла, как один день...

Поленову не хотелось, видно, торопиться. Он обошел с фонарем всю выработку кругом, посидел на камне, не обращая на меня внимания. Я воспользовался этим для подробного осмотра выработки и нескольких ходов из нее.

Поленов позвал меня идти дальше, и снова началось ползание по трубообразным, узким ходам. Мы поднимались постепенно выше и выше, в то же время неуклонно направляясь на юго-юго-восток. Странно было увидеть впереди голубое облачко отраженного света, резко отличавшегося от красноватого пламени свечей, долго светившего нам в подземном мраке. Свет усиливался. И вот с чувством несказанного облегчения я погасил и спрятал в карман свечу.

Столб неяркого света поднимался над квадратным отверстием в конце хода. Свесив ноги в отверстие, я решительно скользнул в него и остановился на ступеньке верхнего вруса забоя, повернулся, второй раз проделал то же самое и очутился на почве забоя. Я помог спуститься штейгеру; и оба мы, торопясь и спотыкаясь, пробежали оставшиеся пятнадцать метров навстречу нарастающей яркости голубого света. Я нетерпеливо раздвинул густой кустарник у входа и, упиваясь морем свежего, теплого воздуха, ослепленный светом до боли в глазах, не мог удержаться от радостного крика. Обернувшись к Поленову, я подумал, что суровый старик будет смеяться надо мной. Однако и на его лице светилась счастливая улыбка, он тоже радовался красоте просторного солнечного мира.



Высокое полдневное солнце встретило нас ласковым теплом. Тихий шелест осеннего ветерка звучал в наших ушах приветствием. Двадцать девять часов провели мы во мраке и тишине подземных выработок!

– Ну, Васильич, погреемся маленько, отдохнем да и в Уранбаш пойдем, на ферму, бывшую Пашковскую, тут близко. Там и лошадь достанем, а то домой-то далеко, не дойду я. Выручил нас Андрюшка! Не знаю ведь я, что с ним потом случилось...

– Доскажи мне, Корнилыч, про Шаврина, – попросил я, раскладывая на солнцепеке отсыревшие папиросы.

– Да уж и рассказывать-то почти нечего. Сделали мы все, что Андрюшка сказал. Следующей же ночью мы с Костькой опять в ордынскую работу забрались, принесли тулуп старый, бадейку, еще хлеба да ответ от Рикарда. К нему я сам ходил украдкой. Прочел он записку, усмехнулся и ушел куда-то, а я в конторе ждал. Вернулся, посвистал, походил по комнате, написал что-то на бумаге и мне отдал. Я сунул бумагу за пазуху да со всех ног домой, даже спасибо не сказал. Все боялся – приметит кто-нибудь, что в Воскресенку ходил.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.